
Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

АФИНСКАЯ ШКОЛА

Повесть

Школа — всякое положение человека, где он волею-неволею приобретает находчивость, опытность и знание.

Словарь Даля

Все это было, это было

У Чистых с лебедем прудов...

Из песни

— Любочка, я устал.

— Сейчас, сейчас, Наум, сядем.

Бульвар ракрылся перед нами. Впереди блестел на солнце пруд, там плавали лодки, а возможно, и лебеди, отсюда трудно было разглядеть. Народу в этот жаркий день на В-п Common, аналоге московских Чистых прудов, было даже слишком много. Под сенью свежей листвы шли веселые молодые пары, гибкие шоколадные девицы легко катили коляски со спящими младенцами, стройные юноши в шортах и кроссовках прогуливали породистых собак. Вот и скамейка — милая девушка с книгой в руках поднимается, делает жест рукой, словно приглашая сесть, и удаляется по направлению к пруду. Усаживаем Старого Поэта. Видно, что он устал, хотя мы прошли от машины совсем недалеко. Он не рад прогулке. Красота природы ему не видна: он слеп. Полдненную жару, хоть и на свежем воздухе, он бы спокойно променял на домашний покой, прогулку — на лежание в постели, сон, вялые мысли, монотонный голос читающей Любочки, жужжание кондиционера... Это все она, Любана. Она захотела «на природу», что значило для нее — «на свободу», захотела вырваться из домашней тюрьмы на солнышко, может, в последний раз.

— Ты понюхай, Наум, как пахнет.

Действительно пахло — как всегда в начале весны — чем-то чудесным, клейким, эфирным.

— Люба, давайте я вас фотографирую вон под тем деревом — видите? — В нескольких шагах от скамейки, ближе к пруду, стояло дерево-шатер, с опустившимися почти до самого асфальта ветвями. Сережа позвал к нему Любочку — фотографироваться. Я осталась со Старым Поэтом:

— Наум Семеныч, чего бы вы сейчас больше всего хотели? Минеральной воды? Мороженого?

— Чего бы я хотел? — он сидит с закрытыми глазами, но внезапно их раскрывает. — Ты спросила, Кирочка, чего бы я хотел?

Он снова закрывает глаза и говорит, словно из сна:

— Очутиться в Москве.

Ирина Чайковская — прозаик, критик, драматург, преподаватель-славист. Родилась в Москве. Кандидат педагогических наук, с 1992 года живет на Западе. Печаталась в журналах «Вестник Европы», «Нева», «Звезда», «Октябрь» (Россия); «Новый журнал», «Чайка», «Побережье» (США). Автор повести «Завтра увижу» (М., 1991), «Карнавал в Италии» (2007). Живет в Бостоне.

Глава первая. Грузинская песня

Вечер вторника

Вечер вторника. 9 апреля 201... года. Отсюда и начну свое повествование. Сажу у компьютера, верчу в руках листочек со стихотворением, случайно найденным на самом дне ящика стола. Неужели это я написала? «Молитва Нины». Пробегаю глазами текст, но почти не понимаю смысла, не до него мне сейчас. Кладу бумажку в стол, на самое дно. Сейчас мне нужно подумать о завтрашнем уроке. Завтра среда, к десяти утра должна прийти Джеральдина Уайтхаус, или Рая, как я ее называю. Но она может и не прийти. Зависит от того, вернулась ли она из Техаса. Шестьдесят восемь лет, два маленьких хвостика на завязочках сзади, морщинки у добрых глаз, задорная кепка на голове. Первое время я недоумевала: зачем ей, этой немолодой женщине, пять лет как похоронившей мужа, матери двоих детей и бабушке трех внуков, зачем ей русский язык? И добро бы где-нибудь его уже учила, в школе или в университете. Правда, в университете Рая вообще не училась, обошлась школой, скромно работала в кафе-баре — готовила кофий для посетителей, продавала им банановые и черничные кексы. Можно представить себе русскую продавщицу или буфетчицу, берущую частные уроки, скажем, французского языка?

Странность, небывалость.

И сумасшедшее желание научиться, поскорее заговорить, выучить все глаголы разом... Прекрасная память — в ее-то возрасте, замечательные способности к языкам, но, кроме английского, не знает никакого другого. Опять удивление.

Зачем ей, американке с англосаксонскими корнями, русский язык? — задавалась я вопросом. Откуда такое неумное рвение, такая жажда во что бы то ни стало в короткий срок овладеть чужим, мало похожим на родной языком?

Компьютер шелкнул — пришло письмо.

От Раи. Ну конечно, я ведь телепатирую. Если думаю о ком-нибудь, он тут же проявляется. Хотя и не всегда.

Некоторые не проявляются уже много-много лет.

Раино письмо, как обычно, короткое. Но пишет по-русски.

Кира

Я приду. Я плохо. Вернулся из Техас. Миша говорит: не нада, я один. Я плачу.

Спасибо,

Рай

Некоторые вещи Раечке трудно запомнить. Свое имя пишет Рай — и сколько бы я ни говорила, что надо Рая, продолжает писать по-старому. Я уже понимала, что завтрашнее занятие будет похоже на сеанс психотерапии. Мне, однако, не привыкать.

Среда

Утром позвонила в Москву — обязательный звонок сестре — и в Италию. В Италии живет моя Старшая Подруга, ей в августе будет девяносто шесть лет. С некоторых пор мне стало страшно ей звонить.

Чувствуется, что силы ее покидают. Она уже не может читать — а если не можешь читать, то что тогда делать? Но мне она неизменно рада:

— Кириочка, ты? Как поживаешь?
— Хочу узнать, как вы. Как ваша голова?
— Я? Что обо мне говорить, ты же знаешь, все одно и то же. Погоди, я тебе что-то хотела сказать.

— Ужасно плохо слышно, пожалуйста, говорите почетче!
— Я хотела сказать тебе, Кириочка, будь счастлива!

Потом начались гудки.

Сердце у меня сжалось, не к добру это. Когда тетя Аня умирала в сумасшедшем доме — ее туда поместили после того, как она перерезала себе вены в «пансионате для престарелых», точнее сказать, в богадельне, — когда она умирала в этой ужасной палате, где, наверное, было сто кроватей и на всех что-то творилось: кто-то кричал, кто-то выл, кто-то стучал башмаком по железной спинке, кто-то раздевался, стояли шум и смрад, и вот мы с сестрой пришли ее проведать и принесли бананы. Она ведь ничего не ела несколько дней. Сестра почистила банан, Аня открыла рот, и мы всунули в него банан, и она начала медленно, очень медленно его жевать. Он не лез в горло, но она хотела есть и ела этот наш банан, а слезы она смаргивала с красных своих век. И вот она, наша тетя Аня, которая когда-то спасла отца во время войны, лежащего в тифе, отыскала в прифронтовом госпитале и выходила, — тетя Аня, когда съела банан, просветлела лицом и напоследок шепнула нам, уже поднявшимся, чтобы уходить: «Будьте счастливы, девочки!»

Нет, не к добру эти слова, не к добру... Но времени перезванивать не было. Вот-вот должна была приехать Рая.

Заглянула в свой план. Так, разминка — диалог с употреблением личных местоимений. Потом упражнения на использование родительного и предложного падежей. Рая плохо знает падежи, часто путает родительный с предложным, это стало для нее «пунктиком», она требует от меня беспрестанной проверки своих грамматических навыков. Вот у меня полстраницы специальных примеров для нее. Что дальше? Дальше чтение текста с ответом на вопросы, вот книжка уже открыта на нужной странице. Ну, и в самом конце песня. Песня на самом деле — главное. Она для Раечки просто на первом месте. Но нельзя же с нее начинать? Так получается, что к песне мы приходим в самом конце, когда уже час занятий почти исчерпан. И вот тут... а вот и ее машина.

* * *

Как я и думала, занятие началось с душевных излияний. Принесла ей чаю — она любит обычный крепкий чай, кофе ей надоел на работе. Раскладывает на столе свои тетрадки, смотрит в стол.

Стараюсь перехватить ее взгляд:

— Раечка, вот тебе чай.

— Спасибо! — поднимает на меня глаза — в них, к моему удивлению, лучезарная радость. Не сразу догадываюсь, что это реакция на свидание с Мишей.

Спрашиваю:

— Миша здоров?

— Да, он здоров, но он плохо. Его бывший жена заболел, они долго в разводе.

— Какая у нее болезнь?

— Она рак, она может смерть. Миша сказал, он не может ее бросить из-за рак.

— Ты собиралась спеть ему песню. Спела?

— Я хотел лучше приготовить. Я его спросил: ты знаешь Булат Окуджава? Он говорил: «Канечна». Я спросил: «Ты его любишь?» — «Канечна». — «А какую хотел слушать?» Он молчал, потом говорил: «“Грузинская песня” хочу слушать».

Раечка, взволновавшись, делает глоток из чашки — и давится, кашляет.

Говорит уже по-английски:

— Кира, я так удивилась, когда это услышала. Мне это даже показалось чудом. Ведь я Мише не сказала, что мы с тобой поем Окуджаву и я разучила «Грузинскую песню». Я спросила его, почему ему нравится именно «Грузинская песня». А он в ответ сказал, что есть причины, а какие — не ответил. Как ты думаешь, какие это могут быть причины? Женщина?

— Почему женщина, Раечка? Почему обязательно женщина? Твой Миша совсем не Дон Жуан. Я вот тоже люблю «Грузинскую песню», и ты ее любишь. И для любви не нужны никакие причины.

— Кира, — Раечка глядит на меня умоляюще, и ее лучезарность понемногу передается мне, — давай сегодня начнем с песни!

И мы начинаем с песни.

* * *

Грузию я тоже люблю. Даже больше, в молодости я была в нее влюблена. Для кандидатской выбрала тему «Грузинская поэзия в школе» и, не зная языка, начала читать в русских переводах Шота Руставели, Николоза Бараташвили, Давида Гурамишвили и многих-многих других, которые посовременнее. Читала — не могла начитаться, то ли русские переводы были такие завораживающие, то ли грузинские стихи сами по себе... Повезло мне и с оппонентом, я сама ее выбрала, тихую женщину, приехавшую в наш головной московский институт по делам своей докторской диссертации, жену большого грузинского актера. Тамара Георгиевна много чего мне рассказала из того, что знают про свою культуру сами грузины. Мы подружились, и Тамара Георгиевна пригласила меня на конференцию в Тбилиси. Конференция была всесоюзная, приехали на нее педагоги и психологи из разных городов, но основные докладчики были из Москвы и Ленинграда. Почему-то я сразу сблизилась с ленинградцами — до того, что ездила в их автобусе. Московский автобус, возивший директора нашего института и наполненный его челядью, думаю, не очень сожалел о моем отсутствии. Ленинградцы кучковались вокруг немолодой, но магнетической женщины еврейского вида, с которой я сразу сдружилась. Ее опекали два молодых сотрудника, оба психологи, один сразу вызвал у меня интерес, как казалось, взаимный. Во всяком случае, я ловила на себе его взгляды. Был он небольшого роста, но крепкий и мускулистый, с некрасивыми и неправильными чертами лица, однако во всем его облике была какая-то стать, глаза из-под очков смотрели умно и слегка насмешливо, в принципе именно такие личности должны писать гениальные стихи и совершать мировые открытия. Мысленно я назвала его Ученый. В первый же день, когда нас представляли друг другу, он ко мне подошел и сказал со смущенной улыбкой: «Простите, что я на вас смотрю. Вы очень напоминаете мне одну девушку. Мы с ней дружили. Она только что умерла в Ленинграде, болела недолго, но тяжело. Вы такая же тоненькая, как...» Он оборвал себя на полуслове и быстро отвернулся. Подошел его долговязый приятель и увел его знакомиться с еще какой-то группой.

Вечером на званом обеде в доме Тамары Георгиевны меня посадили рядом с сотрудниками ее лаборатории за почетный стол, во главе которого восседал наш директор. Чего-чего не было на столе в самом начале мая — какой только зелени, каких только орехов, фасоли, мяса, сыров, фруктов и сладостей! — грузинское гостеприимство известно, да и в представлении русских страна Картли издревле считалась раем. Потом уже мои соседки-грузинки шепотом мне рассказывали, что со-

бирали деньги на прием гостей в течение всего года и вспоминали эпизод из фильма, когда грузинский юноша, обильно угостив друзей, наутро разговляется кефирчиком... Надо сказать, что за роскошным этим столом я не ела и не пила: еда не лезла в горло. Прямо перед моими глазами за параллельно поставленным столом, но спиной ко мне сидела ленинградская группа, о чем-то активно переговаривающаяся между собой. Магнетическая женщина, с которой в автобусе мы уже успели подружиться, несколько раз оглянулась на меня и призывно помахала рукой. Но мне было неудобно покидать грузинок. Наконец два знакомых мне ленинградских сотрудника — Долговязый и Ученый — поднялись и подошли к нашему столу, тут уж я не стала противиться и, густо заливаясь краской (всегда чувствую, когда краснею), заплетающимися ногами, под грозным взглядом директора, направилась к соседям. За ленинградским столом моим вниманием с ходу завладел Толя, веселый и остроумный коллега Ученого, успевающий, несмотря на почти непрерывный монолог, отведать от всех яств и продегустировать все вина. Краем глаза я наблюдала за Ученым. Он молчал, изредка отвечая на вопросы магнетической женщины, и, как и я, в пире не участвовал.

На следующий день после утреннего пленарного заседания, на котором директор читал доклад о коммунистическом воспитании, магнетическая женщина рассказывала о своем факультативном курсе, Ученый говорил о психологии детского восприятия, а также после дневного заседания нашей секции, где в своем выступлении я доказывала, что стихи Булата Окуджавы опираются на грузинскую традицию, — после этого тяжелого дня заседаний можно было наконец прогуляться по городу. Солнце уходило с улиц, зажигались фонари, все вокруг сильно отличалось от московского: лица людей, запахи, яркие цвета. Я шла по оживленному цветущему проспекту Руставели и смотрела на вывески, на одной рядом с грузинской вязью прочла слово по-русски: «Хачапури». Это-то и было мне нужно. Я решила сначала утолить голод, а потом уже любопытство. В хачапурной народу было немного, но мне показалось, что все посетители — почему-то одни мужчины — разом на меня посмотрели. Заказала одно хачапури и бутылку минеральной воды. Продавец в грязноватом переднике и заломанном на ухо белом колпаке сказал с сильным грузинским акцентом: «Придется посидеть, дамочка, полчаса придется посидеть. Пока хачапури пекут, придется дамочке посидеть», и он весело что-то запел и зацокал языком.

— А, вот вы где! Можно к вам присоединиться? — это Ученый вошел в хачапурную и меня заметил.

Сев за столик, он продолжил, понизив голос:

— Напрасно вы ходите вечером одна, все-таки Тифлис — это немного Восток.

Я не отвечала, еще не пришла в себя от неожиданности.

— Вы так резво убежали, что я не сразу вас догнал.

— Вы меня догоняли?

— А как же, бежал, как охотник за газелью.

Через час принесли наши хачапури. Все это время мы разговаривали. Оказывается, он был на нашей секции и слушал мой доклад. А я и не заметила — так волновалась, что в зал не глядела. Запомнилась его критика (хотя доклад он хвалил), он сказал, что у меня получается, что в «Грузинской песне» возносится хвала мирозданию и Господу, но у Окуджавы, как ему кажется, воззрения не христианские, а языческие, своеобразный пантеизм, славословие тому порядку, что вытекает из природного цикла. Что-то вроде этого. Сказал, что ему понравилось про «миджнуров», и спросил, хотела бы я иметь такого безумного обожателя. Тут я на него взглянула: черная футболка, потертые джинсы (видавший виды джинсовый пид-

жак он повесил на стул). В этом наряде он и выступал, и я могла вообразить, с каким негодованием взирал наш директор на «подрывающий педагогические устои» костюм докладчика. А на лицо его я не смотрела. Хачапури оказался такой вкуснятиной, что очень захотелось заказать еще, что мы и сделали, просидев в хачапурной до самого закрытия.

А потом... потом началось что-то совершенно фантастическое. Мы побрели по ночному городу — и он не оттолкнул нас, наоборот, вел по своим улицам и площадям, не давал заплутаться в переулках и тупиках, оберегал и охранял, словно своих детенышей. Мы держались за руки, как дети, и были детьми, девочкой и мальчиком. Девочка слушала, как мальчик читает стихи Пастернака, а под конец, давась слезами, никого и ничего не замечая, рассказывает о своей умершей возлюбленной. Рассвет застал нас на горе, и когда я обернулась, то увидела, что за нашей спиной стоят два ангела, два прекрасных отрока со светлыми и строгими лицами.

* * *

На одном из первых занятий я спросила Раю, хочет ли она петь. Она радостно кивнула. Когда она легко повторила мелодию «Лучины» хорошо поставленным низким голосом, я спросила: «Ты пела в хоре?» — «Да». — «И я тоже». Я не стала узнавать, в каком хоре она пела. Скорее всего, в церковном. Но какая разница? Я пела в пионерском. Что это меняет? Главное, что мы любим петь и имеем некоторый навык пения. Вот *это* с нею петь — это вопрос.

Не сразу, занятия через три-четыре, она рассказала про Мишу. Он был близким другом, приходил к ним в дом, еще когда был жив ее муж. Познакомились случайно, просто жили неподалеку, и Миша сразу ей понравился.

Чем он занимался? Точно она не знает. Он был профессором в университете, что-то преподавал. Кажется, социологию или историю, а может, психологию. Что-то такое не вполне понятное. Он любил музыку, это она знает точно. А потом он уехал в Техас. Но она с ним переписывается и иногда к нему ездит. Миша такой... он редкий человек, очень умный и добрый, она не думает, что у русских все такие, хотя он именно русский, не похож на американца. Когда она в следующий раз поедет в Техас, ей бы хотелось спеть ему хорошую песню. Не знаю, почему я тогда подумала об Окуджаве? Стала напевать его «Грузинскую песню». И Раечке она сразу понравилась.

«Виноградную косточку в теплую землю зарою», — поем мы с Раей-Джеральдиной, у нее совсем небольшой акцент, и поет она, закрыв глаза, словно грезя о чем-то.

Рая отозвалась о песне так: «В ней есть какой-то месмеризм». Удивительное слово «месмеризм», никогда его не слышала от американцев и вообще не слышала. Оно хорошо передает колдовство, исходящее от песен Булата. А о Раечке снова подумалось, что не подходит ей работа продавщицы кафе-бара, у нее тонкая душа, по странному стечению планет, ощущающая свое родство со всем русским: языком, песнями, людьми...

О чем она думает во время пения? О Мише? А я вспоминаю майский Тифлис, наш автобус, в котором мне было так хорошо. Магнетическая женщина нашептывала мне на ухо разные смешные истории, мы обе хохотали. Накануне вечером, во время пира, неутомимый говорун и дегустатор Толя кое-что рассказал мне о ней: она пережила блокаду, была юной разведчицей — поднималась на воздушном шаре над городом и наблюдала за расположением противника. Такие, как она, безоружные девчонки на воздушных шарах были прекрасной мишенью для фашистов, но

ее по какой-то случайности не сбили. Сейчас из-за больного сердца врачи не пускали ее в Грузию, они с Митей ее опекают. Митей звали Ученого. В автобусе «опекуны» ехали впереди, по левую сторону от нас, они то и дело оглядывались на взрывы нашего хохота. А в окнах автобуса мелькали нежно-зеленые долины, темные башни на вершинах гор, немисливо ранней постройки стройные монастыри.

Удивляюсь сама себе: спустя столько лет не отпускают ни эти картины, ни даже тогдашние замечания Ученого, все пытаюсь их оспорить. Косточка винограда — лоза — виноградная гроздь, конечно, здесь он прав, это природный цикл — от начального семечка до сбора урожая. Но для него это одицетворение язычества, как и три стихии Земли, Неба и Океана, воплотившиеся в образы белого буйвола, синего орла и золотой форели. И при всем при том как же он не заметил, что Окуджава упоминает «царя небесного»? Всей этой природой, всем мирозданием управляет Господь, все подчинено его разуму и воле.

Второй куплет Рая поет одна, это ее соло. «В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу». Про Дали она все знает от меня. Знает, что у грузин в языческие времена была богиня охоты, которую звали Дали. Только не имеет она отношения к песне Окуджавы. Здесь Дали — просто женщина с красивым и древним именем. Почему герой преклоняет перед нею главу? Да потому, что он — рыцарь, «миджнур» по-грузински, и женщина для него — объект преклонения. Вот была у Булата Шалвовича любовь, по имени Наталия. И в своей песне он написал: «А молодой гусар, в Наталию влюбленный, / Он все стоит пред ней, коленопреклоненный». Эту песню я в свое время тоже спела Рае для иллюстрации. Есть тут еще одно удивительное место, которое нуждается в пояснении. «И заслушаюсь я — и умру от любви и печали». Как раз сейчас Рая поет эти слова. Что они значат? Кто и когда умирал от любви и печали? О, в моем докладе о грузинских традициях в поэзии Окуджавы как раз было об этом. Я приводила в пример грузинского поэта XII века Шота Руставели, чья поэма известна каждому грузину. Ее главный герой — «несчастный Тариэл», иначе «витазь в тигровой шкуре», — умирает от любви и печали. У него похитили любимую, и он, обезумев от горя, пришел в пустыню, чтобы найти смерть. Все это я тоже рассказала моей американке.

Последний куплет мы поем вместе, наши голоса стройно сливаются в унисоне.

Рая взволнованна, она пытается выразить это по-русски: «Прекрасный песня, здесь жизнь и смерть и любить. Рай поет ее для Миша».

А дальше мы чинно занимаемся по моему плану. Урок получился длинный, на целых полчаса длиннее обычного, но что поделаешь? Зато мы отработали все примеры на родительный и предложный падежи, и Джеральдина-Рая сделала в них совсем немного ошибок.

* * *

Урок давно кончился, а я никак не могу подняться. Потом рывком встаю, отношу чашку с недопитым чаем на кухню и, сняв с вешалки куртку, выскакиваю из дому. После урока мне необходимо прогуляться. Живем мы в неприметном городке возле Большого Города, прямо перед домом — лесистая гора, с вершины которой можно озирать окрестности. Это самая высокая точка нашего района.

Когда позволяют погода и самочувствие, я забираюсь на эту вершинку и смотрю сверху вниз на всю эту копошащуюся внизу жизнь, на деревья, небоскребы, озера и деревянные домики, наподобие нашего. При этом я читаю про себя то пушкинское «Кавказ подо мною», то пушкинское же «как некий демон, отселе править миром я

могу». Сейчас по дороге на смотровую площадку, радуясь зазеленевшим вдруг траве и деревьям, я твержу про себя руставелиевские строчки в колдовском переводе Заболоцкого: «Плач миджнура о любимой — украшенье, не вина. На земле его страданья почитают издавна. И в душе его, и в сердце вечно царствует одна. Но толпе любовь миджнура открываться не должна». Как хорошо дышится в этот апрельский день, и настроение неплохое, хоть и устала я от урока с этими бесконечными примерами на родительный и предложный: около стола, на столе, у тети, в Москве... Долой грамматику! Какая женщина не мечтает, чтобы у нее был рыцарь-«миджнур», до безумия в нее влюбленный, влюбленный безумец... Разве есть такая, чтобы не хотела, даже спрашивать об этом не надо...

В эту минуту зазвонил мой мобильный, зажатый в левой руке. Звонил Сережа, с работы, сегодня он придет поздно, так как поедет в джим. Прекрасно, хорошо, Серик, а я вечером буду доканчивать рецензию на дурацкую венгерскую книжку. Ну, как зачем? Кому-то ведь надо писать рецензии. На мою? А на мою не надо, она не дурацкая, сама прорвется. Конечно, шучу. Ага, тебе тоже привет.

Связь закончилась. Хорошо, что есть у меня Сережа. С ним мне никакой миджнур не нужен.

Дорога вьется извилистой змейкой, вверх и вверх. По сторонам растут мощные деревья, в основном хвойных пород, а между ними лежат огромные камни-валуны, миллионы лет назад принесенные сюда ледником, прошедшим через эти места и оставившим на них свой дикий, доисторический след.

Иногда мне кажется, что вот сейчас из-за этой громадной сосны выглянет первобытный йеху с палкой-копалкой в руках... В подмосковных лесах у меня никогда не возникало таких ощущений. Что похоже — запах. Запах хвои. Здесь и там. Там он был гуще, смолянистее. Здесь притушенный, словно ускользающий. Конечно, это тебе не Клязьма, не пансионат, не заветная тропа, бегущая между елочек и сосен, по которой ты шла зимой, в оттепель, в новогодние каникулы, по подтаявшему снегу, вдыхая пряный хвойный запах...

Вот и вершина. Четырехугольная площадка огорожена со стороны обрыва решеткой.

Если смотреть отсюда вниз и вдаль, то много чего можно увидеть, — местность лежит перед тобой, как на карте. Красота! На утрамбованной площадке никого нет, и я вынимаю свой мобильник. Звоню Старшей Подруге в Милан. Она еще не спит, там сейчас на два часа меньше, чем в Москве, то есть только шесть часов вечера. Звоню ей внеурочно, чтобы освободиться от беспокойства. «Будь счастлива, Кирочка». Когда-то тетя Аня так с нами прощалась. Она умерла через несколько дней после нашего посещения. Она, наша красивая и гордая тетя, на старости лет приехавшая из Риги в Москву к своему племяннику (папе) и не сумевшая поладить с мамой, поселилась в доме для престарелых, но не выдержала и там. И слава богу, оставила нам с сестрой не горькое и страшное, а отрадное воспоминание: свою прощальную улыбку и свое пожелание: «Будьте счастливы, девочки». Произнесла его Аня одними губами, голоса у нее не было, да и в том бедламе, где мы находились, разобрать ничего было нельзя из-за несмолкающего шума, грохота и истошных воплей. Но мы с сестрой прочитали по ее губам и поняли. Это было ее напутствие нам, тогда совсем юным. И вот сейчас Старшая Подруга...

Набираю код Италии, Милана, ее номер. Гудки. Никто не подходит.

Набираю еще раз. То же самое. Обычно, когда она на месте, трубку берет мгновенно.

Набираю номер в третий раз. Длинные ровные гудки. Длинные ровные гудки. Длинные ров...

Я спускаюсь с горки и медленно бреду к дому.

* * *

Ей тогда не было и восьмидесяти, когда мы наконец познакомились. Приехали с Сережей в Милан, пришли в ее квартирку, так же населенную книгами, как когда-то в Москве. Помню, она вначале мне не понравилась. Мне показалось, что аристократка, что смотрит свысока, что слишком уверенно держится. А уж какая прическа — волосы лежали шлемом вокруг головы и отливали золотом, как одета — изысканно, другого слова не подберешь... Словно не нас, двух незнакомых и непрославленных соотечественников, приехавших из сельской провинции Марке, встречает, а каких-то важных персон, известных деятелей «науки и культуры».

Потом даже смешно стало вспоминать про эти первые, как оказалось, неверные впечатления. Добрая, радушная, заботливая, но и строгая, точная, очень проникающая. Ее учебник для итальянцев был написан с энциклопедической широтой и смелостью. Чтобы написать такой учебник, надо было освободиться от всех советских пут, к тому же быть ученицей большого Учителя. Обоим условиям моя Старшая Подруга удовлетворяла. Выпускница Ленинградского филфака, прошла она великолепную школу у лучших тогдашних профессоров. Бесценный жизненный опыт вкупе со знанием испанского языка пришел к ней на земле сражающейся Испании, а потом, после поражения республиканцев, он пополнился в лубянской тюрьме и сталинском лагере.

Статья, по которой ее приговорили, даже для тех лет звучала абсурдно: «находилась в условиях, при которых могла совершить преступление». Могла, но не совершила? Да какая разница! Гроби всех, кто вернулся с проигранной войны живым и невредимым.

А сколько она порассказала нам в тот первый раз — от полноты души, от радости, что слушают соотечественники, от неостребованности этих рассказов на родине. Была моя Старшая Подруга близким другом и лирическим адресатом известного писателя-лагерника, была корреспонденткой гениальной писательницы первой волны, писавшей ей из одинокого филадельфийского своего пристанища горькие письма, а еще была она приятельницей и переводчицей на итальянский музыки громкого революционного поэта, той самой, о которой еще с девчоночьих лет стремилась я узнать как можно больше.

И знакомство мое со Старшей Подругой началось с того, что в книжном магазине нашего городка обнаружила я переведенные и отредактированные ею воспоминания той неординарной женщины, появившиеся на родине и на родном языке лишь спустя десять лет. Запомнив имя переводчицы, я связалась через своего итальянского ученика Франческо с издательством Cafoscarina — и вот она, бумажка с телефоном, а затем и с адресом.

Про подругу революционного поэта я ее много расспрашивала, сверяла свои впечатления. Вот Юрий Тынянов (в пересказе Натана Эйдельмана) говорит про нее, что она с ним расплатилась за статью, принесенную на их с мужем квартиру, весьма оригинально, попросила прийти вечером, привела в спальню, где «на мягкой пуховой постели, / В парчу и жемчуг убрана, / Ждала она гостя, шипели / Пред нею два кубка вина». Тынянов был в то время молодоженом, но в возникшей ситуации должен был соответствовать... Старшая Подруга отсекала такой поворот событий: быть не могло, подруга революционного поэта не из тех.

А насчет сотрудничества с органами? Могла она быть осведомительницей?

Вот в книге у известного ученого «варяга» Рита Р. рассказывает, что та пыталась ее завербовать....

— Рита Р. — известная лгунья, это все выдумки. При таком характере, какой был у подруги революционного поэта, невозможно было писать доносы на друзей.

— А какой у нее был характер?

— Она не хотела жить скучно и бессмысленно. Упала и сломала себе шейку бедра, тогда операции таким больным не делали, они были обречены на лежание, «матрасную могилу», до конца своих дней. И она не захотела. Выпила одиннадцать таблеток снотворного — набутала, — сама оборвала свою жизнь. Сама оборвала свою жизнь. Сама оборвала свою жизнь.

Ловлю себя на том, что механически пишу эти слова в своем блокноте. Снова и снова. Причем думаю о Старшей Подруге.

А кажется, я знаю, что нужно сделать. Нужно написать Франческо. Франческо — это тот самый итальянский ученик, который принес мне адрес издательства Cafoscarina.

С недавних пор стало жутковато ему писать, его депрессия разгорелась с новой силой. Но делать нечего. Франческо теперь живет в Милане, он может пешком дойти до моей Старшей Подруги. Вот бы и узнал, все ли с нею в порядке.

И я пишу Франческо: «Франческо, ты мне нужен. Как твои дела, как самочувствие?»

Ответ приходит через минуту, словно он ждал, что я его окликну: «Кира, я жив. Больше ничего не происходит. Жив, но боюсь смерти».

«Ты дома? Я хотела тебя попросить сходить к А. У нее молчит телефон, и я боюсь...»

«Я не выхожу из дому. Вот уже два месяца. Мать приносит мне еду».

«Ты сошел с ума. Разве так можно? Ты же сам себя вгоняешь в ступор. Сидеть и думать о смерти! Ты должен сейчас одеться, выйти на улицу и пойти к А. Она тебе помогала, помнишь? Ты ходил к ней советоваться со своими переводами».

«Кира, я ничего не помню. Я все забыл. Я помню только, что должен умереть. Вопрос когда».

«Послушай, ты должен пойти к А. Сделай усилие. Ты точно не умрешь, пока будешь к ней идти, посидишь у нее, если она откроет, — и вернешься. Все это время, обещаю тебе, ты будешь жив».

«Ты уверена? Почему ты уверена? А если она не откроет? Что тогда делать?»

«Тогда повернешься и уйдешь. И напишешь мне, что дверь не открыли. Значит, что-то с ней случилось...»

«Что с ней могло случиться? Что могло с ней случиться? Я боюсь выходить из дому. Я не пойду».

«Франческо, сходи! Очень тебя прошу. Ты тогда не умрешь очень долго, Бог зачет тебе твой поступок...»

Больше он не пишет. Решился или нет? И что если она не откроет? Мне кажется, она не откроет.

Бедный Франческо! Болезнь окончательно загнала его в угол. Когда мы с ним занимались, у него была хотя бы цель: научиться русскому языку, начать переводить книги. Уже тогда депрессия его донимала, но он с нею боролся, ходил на уроки в лингвистическую школу, читал книги, делал домашнее задание...

А какие интересные были у нас с ним дискуссии! О будущем Италии, о будущем России. Про Италию он говорил, что у нее нет будущего. Что через двадцать лет такой страны вообще не будет на карте. Куда же она денется? Будет поглощена морем, затоплена селями и горными речками, погребена землетрясениями, испепелена новооткрывшимися вулканами, на нее упадет небесный астероид.

Его воображение работало с размахом. А куда денутся люди? Как куда? Погибнут. Спасется только небольшая горстка, они успеют убежать до всех этих мрачных событий. Куда же они убегут? В Америку. Или в Россию. Здравьете. Ты думаешь, Россия сможет оказать им помощь? Она будет существовать через двадцать лет? А как же! С Россией за двадцать лет много чего произойдет, она вернет себе статус сверхдержавы, ее наука, культура возродятся, народ станет свободным. Ты думаешь? Я уверен.

На чем основывается твой прогноз? Исключительно на интуиции. Помню, я очень смеялась, а Франческо сердился и говорил, что интуиция никогда его не подводила. Был он очень способным к языкам, русский начал учить еще в юном возрасте, когда понял, что нужно чем-то занять свой мозг. Откуда у тебя эта напасть? Не знаю, я в детстве сильно испугался, потом страх прошел, а потом стал накатывать снова и снова. Я не знал, куда мне от него спрятаться.

Похоже, что спрятаться от своего страха он решил в русский язык и русскую литературу.

Когда я уже уехала из Италии, а Франческо обосновался в Милане, он написал мне письмо с просьбой соединить его с А. Видимо, у него были серьезные намерения начать переводить книги для издательств. Моя Старшая Подруга имела дело со многими издательствами и могла посоветовать, куда обратиться в первую очередь. Потом она мне рассказывала, что Франческо поразил ее своей правильной русской речью, без намека на итальянский акцент. Но дальше у него случился афронт. Она попросила его перевести кусочек текста. Он взял этот кусочек домой и больше не появился. Она подозревала, что текст оказался ему не по зубам, хотя был всего лишь взят из книги ее друга-лагерника, кусочек о городе его детства; в тот момент она переводила эту книгу.

Я не стала говорить Старшей Подруге о комплексах Франческо, о его страхах. Я была уверена, что он мог прекрасно справиться с переводом, но испугался. Чего или кого — неважно. Страх подстерегал его повсюду. Вполне возможно, что Старшая Подруга сама кое-что поняла.

Она была чуткая к словам и интонациям, улавливала скрытые побуждения. Она всегда стремилась помочь. Был у меня один тяжелый период в Италии, все как-то сошлось в одно. Сережа лишился работы и вынужден был уехать от нас в другой город, ситуация в России была безысходной, наше будущее, судьба детей вырисовывались слабо — и душа у меня заболела. Особенно плохо было в середине дня, в «помериджо» — так у итальянцев называется временной отрезок от обеда примерно до пяти часов вечера. Часа в четыре сердце начинало ныть особенно. В кухне, где стояли телефон и моя пишущая машинка, становилось нестерпимо жарко, душно, работать было невозможно, тягучим послеобеденным часам не было конца и исхода.

И вот тут раздавался звонок — звонила Старшая Подруга из Милана. Словно понимала, что повремени она хоть немного — и душа моя разорвется от горя, от обиды на жизнь, от жуткой духоты, от которой не было спасения. Своим звонком она мне дарила полчаса нормальной человеческой жизни. Не помню, что она говорила, но каждое ее слово было золотом, было бальзамом на истерзанную душу, нуждающуюся если не в утешении, то хотя бы в сочувствии. Эти звонки моей Старшей Подруги, продолжавшиеся все время моей хандры, трудно забыть, да и невозможно.

Я оставляю компьютер открытым и спускаюсь на кухню — давно пришло время обеда. Но сварить себе кашу — конечно, гречневую, какую же еще? — не успеваю: раздается характерный хлопок компьютера, оповещающий о приходе письма. И я бегу наверх. Кто это? Франческо? Вроде рановато. Но это не Франческо.

Это Музыкант. Мы с ним довольно регулярно перебрасываемся парой фраз. В этот раз он пишет:

Куда вы пропали? Есть новость.
Хорошая?
Конечно, нет. Отрицательная рецензия.
Вам не привыкать.
В последнее время их вроде стало меньше.
У меня тоже есть новость. И тоже нехорошая. Вы ведь помните А? Она водила к вам в Москве 1970-х итальянские делегации.
Отдельных гениев, а не делегации. Что с ней?
Пока не знаю. Она мне сказала: «Будь счастлива».
Она ведь в очень преклонных годах. Напишите мне, если что-то случится, хорошо?

Я спешу вниз, варю кашу и кладу ее в глубокую тарелку, как вдруг снова раздастся хлопок пришедшего письма. Так и не попробовав каши, бегу наверх. На этот раз письмо от Франческо.

Кира, я там был. Только что вернулся. Все в порядке.
Она открыла?
Во дворе была амбуланца. Я подошел к двери, внутри были люди.
Она жива?
Она на них кричала по-испански.
Что?
Кричала по-испански. Fuera, maldita Franco! Примерно так. Она приняла их за франкистов.
А что было потом?
Я не дождался и пошел домой. Главное, она жива. В сущности, так легко сказать жизни: гао, ла миа вита.
Слава богу, она жива.
У меня поднялось настроение. Я понравился сам себе.
Ты молодчина. Спасибо тебе огромное!
Но сейчас мне снова страшно. Я боюсь, что не засну. А если засну, то не проснусь.
Что мне делать, Кира? Принимать лекарства?
А что если погулять? Возле дома? Минут пятнадцать, для моциона?
Но я...
Я тебя посторожу, не бойся. Я правда тебя посторожу.

Я вспоминала, как говорила эти слова маленькому сыну перед сном.

Но я...
Франческо, у меня каша стынет на кухне. Ты меня извини!

Наверное, я его обидела своей «кашей». Он ушел из почты, даже не простившись.

Вот всегда у меня так. Парень, можно сказать, совершил героический поступок, а я ему «каша». Я снова спустилась на кухню. Каша окончательно остыла, но зато чай я пила с малиновым пирогом. Объединение.

Когда поднялась наверх, в почте было письмо из Италии, но не от Франческо. Писала ученица Старшей Подруги, переводчица с русского Федерика Дзонгелли.

Вообще удивительно, сколько у моей Старшей Подруги друзей, учеников, «фанатов» во всех концах земли. Родственников практически уже не осталось, но на свой день рождения, обычно встречаемый ею дома, получает она до пятидесяти звонков из самых разных городов и стран. Это те, кого она зарядила, с кем поделилась своим жизнелюбием.

Федерика писала:

Cara Kira,
Il telefono di Anette non rispondeva. Percio' ho chiesto a Carlo di andare da lei. Lui ha aperto la porta con la sua chiave e ha chiamato l' ambulanza. Adesso Anette sta in ospedale e si sente meglio.
Con tanto affetto
Federica

В переводе это означало, что телефон у моей Старшей Подруги не отвечал, и Федерика послала к ней своего мужа Карло. Он открыл дверь своим ключом и вызвал «скорую». Старшая Подруга сейчас в больнице, чувствует себя лучше...

Федерика ничего не писала о том, что случилось, почему понадобилась «скорая».

Спросить? Но я уверена, что она уйдет от ответа. Так что написала несколько незначащих слов:

Дорогая Федерика,
Спасибо за сообщение, хоть оно и грустное!
Будьте здоровы, привет Карло,
Кира

Потом все же приписала:

Что случилось с А.?

И получила ответ:

Na un piccolo intossicazione.

Ага, небольшая интоксикация, читай отравление. Федерике не хочется писать неправду, она пишет полуправду. Все же выдохлась моя Старшая Подруга. Устала от жизни. Немудрено к этому возрасту. Кроме того, что заели болезни, живет она одна, сама должна себя обслуживать. А вот психологически она к одиночеству привыкла, и ее оно не тяготит, как тяготило бы, скажем, меня. Я бы одна не смогла. Но для нее — это возможность жить, как она хочет, ни к кому не подстраиваясь. Жить — и умереть. Старшая Подруга росла в советской стране, свои коммунистические воззрения со временем изжила, а в Бога так и не поверила. Он ее жизнью не распоряжается. Она хочет сама распоряжаться своей жизнью. И смертью.

Уже давно я от нее слышала, что если жить становится невтерпеж, то «есть способ». Самый обычный — женский, наглотаться таблеток и уже не открывать глаз. Так сделала ее эксцентричная подруга, бывшая музой Маяковского.

Об этой сверхъестественной женщине я написала большую статью еще в то время, когда ее имя было забрызгано грязью и каждый норовил сказать о ней какую-нибудь гадость. Я написала статью, ободренная моей Старшей Подругой, она меня благословила. А потом благословила написать о Музыканте, которого высоко ценила, — с ним и его писаниями никак не могли примириться на родине. Помню ее

слова: «Пиши, Кира, нужно чтобы среди этого собачьего лая прозвучало хоть одно человеческое слово».

Господи, спасибо тебе, что она жива!

Вздыхнув, открываю страницу с начатой рецензией на дурацкую книгу-альбом, но тут же ее закрываю. Не могу сейчас об этом. Не могу.

А о чем могу?

* * *

Первый раз мы посетили Грузию с сестрой, и было это еще в ранние студенческие годы. Тогда существовал туристический автобусный маршрут, пролежавший через несколько грузинских городов и старинных монастырей.

Тогда мы впервые увидели древнюю Мцхету, с ее величавым собором Двенадцати апостолов, Светицховели, что означает по-грузински «животворящий столп». По преданию, в его основании лежал Хитон Господень, принесенный из Иерусалима одним еврейским раввином. Там же, вместе с Хитоном, покоилась молодая сестра раввина, Сидония, при виде святыни испутившая дух и так и не выпустившая ее из своих рук. На ее могиле возрос животворящий столп — могучий, источающий елей кедр. Вокруг него и выстроили храм.

От того первого посещения осталось в памяти несколько сцен. Мы с Лерой (Лера — моя сестра) идем по тропинке и внезапно останавливаемся. На пути ручей, бурный, звенящий, видно, бегущий с гор. Через него перекинут мостик — тоненькая жердочка. Ни Лера, ни я пройти по этому утлому мосточку ни за что не решимся. Остановились, уже думаем повернуть назад.

Как вдруг откуда-то, мы даже не понимаем откуда, выходит пожилая женщина в черном, с нею небольшая девочка-подросток. Они делают нам какие-то знаки, машут приветственно и что-то кричат по-грузински. Мы показываем, что не понимаем. Потом пожилая и юная приносят откуда-то каждая по длинной доске. Девочка, поставив ногу на хилый мостик, кладет с ним рядом сначала свою доску, а потом бабушкину. Но доски не держатся там, где их положили; течение их относит, и они уходят в свободное плавание. Спасибо милым грузинкам за желание помочь. Они на той стороне, мы на этой — машем друг другу и кричим на двух языках что-то хорошее, ободряющее и дружеское.

И еще одна сценка.

Идем с сестрой по улице Мцхеты, две похожие черноволосые девушки, разговариваем по-русски с узнаваемым московским аканьем. Догоняем маленькую старушку с корзинкой в руке, в корзинке чудесные спелые сливы.

— Простите, ваши сливы не на продажу?

Старушка смотрит на нас, прищурившись.

— Я, красавицы, вам их так отдам.

— Нет, мы за так не хотим, мы бы купили.

— Тогда пойдете, я здесь живу недалеко, покажу вам кое-что.

Мы идем до старушкиного крошечного домика. По дороге она рассказывает себе, что она вовсе даже не грузинка, а еврейка, одна из немногих оставшихся в городе. Евреи, по ее словам, жили во Мцхете еще со времен разрушения Первого Храма и вавилонского пленения. С виду, однако, ее легко принять за грузинку, как, впрочем, и нас с сестрой. Интересно, признала ли она в нас своих? Она смотрит на нас хитроватым проницательным взглядом, предупреждает: «Слива в этом году уродилась, как никогда, только это опасный сорт. От этих сладких вкусных слив сразу побежишь в одно местечко, хватит двух-трех — и готово». А показать

ей было что: стены ее бедного, похожего на украинскую мазанку жилища сплошь были покрыты картинами, поражающими своим ярким, насыщенным колоритом, словно это были не картины, а цветные восточные ковры. Были они написаны масляными красками в духе наивного искусства и веселили глаз и душу. Мы спросили, чьи это картины, оказалось — ее. Увы, имени неизвестной художницы я не запомнила. А сливы она отдала нам за так, наотрез отказавшись брать деньги.

* * *

Сажу за компьютером в какой-то полудреме, все что-то грезится, вспоминается, разматывается...

Может быть, впечатления, полученные в древней Мцхете, натолкнули меня на мою тему, когда я начала думать о диссертации? Грузинская и армянская поэзия в какой-то степени сублимировали для меня всякую «другую», отличную от русской поэзию. В этот круг входила и поэзия еврейская. Но брать для научной работы «еврейскую тематику» было нельзя, а грузинскую и армянскую — можно. И я взяла их с радостью, предвкушая открытия, и они не задержались. Как же было интересно читать поэму Шота Руставели в различных русских переводах, какая она оказалась удивительная по красоте и мыслям, как созвучны были ее идеи единства и дружбы людей из разных стран моему интернациональному настрою!

Была эта поэма, написанная гениальным поэтом в XII веке, отчасти восточной по своему сюжету. Сам автор говорит о ней во вступлении (цитирую в переводе Николая Заболоцкого): «Эта повесть, из Ирана занесенная давно...»

Действительно, основа сюжета просматривается в легендах об арабо-персидских «медждунах», влюбленных безумцах, теряющих рассудок как в присутствии любимой, так и вдалеке от нее. Но в той же строфе Руставели продолжает: «Спеть ее грузинским складом было мне лишь суждено». Поэма несет явный грузинский отпечаток. Мне приходит в голову одна «обратная аналогия». Когда мой оппонент Тамара Георгиевна приезжала в Москву, я приглашала ее к себе, и мы с сестрой, бывало, для нее пели.

Как-то мы затянули одну так называемую «грузинскую песню» с залихватским восточным припевом.

Тамара Георгиевна поморщилась, покачала головой.

— Это не грузинская песня, азербайджанская.

— Но почему, в ней поется про Тбилиси!

— Ну и что, эту песню сочинил не грузин, в ней другая гармония.

И сейчас я хорошо понимаю, что имелось в виду. Очень отличается по своему складу грузинская поэма от всевозможных вариаций «Лейли и Медждуна», отличается так же, как грузинский рыцарь-миджнур от арабского медждуна.

Когда-то в тбилисской хачапурной милый человек сказал мне, что бежал за мной, как охотник за газелью. Нет, не грузинское это сравнение, скорее восточное, персидское или азербайджанское.

Так мог бы сказать Саят-Нова...

Почему не уходят из памяти даже мелочи, даже детали тех тбилисских дней?

XII век — время создания перла русской литературы «Слова о полку Игореве». Грузинская и русская поэма легко поддаются сравнению. Но главное сопоставление, весьма для меня тревожное, пришло мне в голову совсем недавно, когда я по ТВ слушала прекрасные лекции профессора-лингвиста, доказывающего, что «Слово» не поздняя фальсификация, а создание гения XII века. Всплыли мои сомнения

еще студенческой поры, когда я познакомилась с работами о «Слове» филолога З., затравленного собратями.

Почему приходится доказывать подлинность поэмы? Да потому, что рукопись не сохранилась, поэмы никто не знал вплоть до XVIII века, когда произошло ее внезапное открытие. Почему ни в одном древнем памятнике нет к ней отсылок? Вопрос о «Задонщине», написанной якобы под влиянием «Слова» в XIV веке, до сих пор считается спорным и дискутируется. Но ведь именно конец XVIII века, эпохи преклонения перед национальным эпосом, породил грандиозные мистификации: кельтские сказания Оссиана — создание шотландца Макферсона, чешский эпос, сработанный талантливым и патриотичным Ганкой... А хитроумный француз Мериме сумел провести даже Пушкина, поверившего в подлинность «Песен западных славян»...

Все сказанное легко перенести на «Витязя». Уж не был ли его автором царь Вахтанг VI, впервые издавший поэму в 1712 году? И кто скажет, где та рукопись, по которой он издал «Витязя»? Эти мысли для меня неприятны, тягостны. Хорошо бы кто-нибудь сумел меня убедить, что мои сомнения не основательны, уж больно прекрасны и глубоки обе поэмы, и так приятно и привычно иметь их у истоков национальной словесности.

Рае я, естественно, про свои сомнения не говорю. Она знает от меня, что поэма Руставели написана в XII веке, в эпоху грузинской царицы Тамар. А любимый нами обеими Окуджава, писавший про свою возможную смерть «от любви и печали», продолжал традицию великого предшественника, чей герой Тариэл тоже умирал от любовной напасти. И умер бы, если бы не помощь двух иноплеменных друзей.

* * *

Недавно Поэтесса из Филадельфии сказала мне по телефону, что знает только одного поэта, которого при жизни не публиковали, — Эмили Дикинсон.

— Постойте, — сказала я, — дайте подумать, — и в ту же секунду вспомнила еще одно имя — Николоз Бараташвили. Когда Илья Чавчавадзе издал в 1876 году сборник его стихов, бедного поэта уже больше тридцати лет как не было в живых. Он умер, не дожив до двадцати восьми, грузинский Лермонтов.

Почему-то именно мне предложили выступить на стадионе перед участниками и гостями конференции. Не то чтобы выступить с приветственным словом или с докладом — для этого нашлись другие люди, — а со стихами какого-нибудь из грузинских поэтов, разумеется, в русском переводе. Наверное, добрейшая Тамара Георгиевна как устроитель конференции этому поспособствовала.

Лихорадочно стала думать, что прочитать. Может, «Мерани» Бараташвили? Не что типа лермонтовского «Паруса», где вместо паруса как символ непокая и борьбы с роком выступает волшебный конь грузинских легенд Мерани. У этого стихотворения было два замечательных перевода, выбранных мною из целой книги его русских переложений, — Михаила Лозинского и Бориса Пастернака. Какой из двух? Плохо было то, что книги с собой у меня не было. Вспоминала по памяти. Кажется, выбрала перевод Лозинского, более экспрессивный. «Мчит-несет меня без пути-следа мой Мерани. Вслед доносится злое карканье, окрик враний...» У Пастернака было все намного спокойней и размеренней: «Стрелой несется конь мечты моей. Вдогонку ворон каркает угрюмо...» Когда вышла на огромную сцену, строчки Пастернака начали цепляться за строчки Лозинского, путали, мешали, сбивали с дыхания. Я остановилась. Передо мной в жарком мареве колыхался ста-

дион, заполненный людской массой. Ждали, что я продолжу. Одинокая веточка микрофона сочувственно призывала: читай. Но я не могла. В голове не было ни одной неперепутанной строчки. И я ушла со сцены, безнадежно махнув рукой.

Подошли ленинградцы. Утешали. Магнетическая женщина сказала: «Ничего, бывает, не расстраивайтесь». Долговязый Толя буркнул, что в мире нет совершенства и посему что-то у меня должно было не получиться. Ученый подошел последним, сказал: «Не хотите прогуляться?», и мы ушли с праздника, не дождав-шись его завершения.

Гуляли вокруг стадиона, и я хорошо помню все, что он говорил. «Вот вы, — он посмотрел на меня, потом снял очки, начал их протирать, надел и снова на меня взглянул, — вот вы выбрали для чтения мятежные стихи поэта-романтика. Зачем? Лучше бы читали его лирику, она истиннее. В ней преклонение перед красотой, а не призыв бороться с судьбой. Зачем человеку борьба? Не лучше ли жить в гармонии с миром, самим собой, природой?»

— Не всегда так получается. Приходится за что-то бороться. Бараташвили любил и ждал любви, а она — Екатерина Чавчавадзе — его не любила. Должен он был бороться за любовь?

— Странно, если она его не любила, зачем тогда бороться? Вот он и погиб так рано... из-за бесплодной борьбы.

Глаза его смеялись.

— Шутите?

— Понимаете, я ученый, психолог, у меня много идей. Если я начну сейчас бороться со всеми — с дебилом директором, с глупым академиком, с сотрудниками... что из этого выйдет? Я не смогу делать свое дело, все уйдет в борьбу. А я хочу работать.

— Вы раздражаете начальство одним своим видом, вам все равно придется бороться, хотя бы за ношение вашей униформы, — я показала рукой на его джинсовый костюм. — Наш директор способен стащить вас с трибуны из-за него.

— Но ведь не стащил. Главное, как держаться. Если ты наработал авторитет, к тебе не будут особенно приставать. Послушайте, почему вы все время отворачиваетесь? Я хочу на вас смотреть.

Наверное, я вспыхнула, а он опустил глаза и не глядел на меня. А потом вдруг сказал:

— Я хотел другое спросить: почему вы не носите кольца? Вы ведь замужем.

Я обомлела. Откуда ему известно, замужем я или нет. Хотя об этом знают и Тамара Георгиевна, и мои коллеги. Значит, наводил справки?

— Вы считаете, я совершаю преступление, что не ношу кольца?

— Серьезное, — он снова смеялся, — вы вводите холостых мужчин в заблуждение. Впрочем, — он подошел, осторожно взял мою ладонь: — Вы разрешите? — и продолжил: — У вас слишком тонкие пальцы, кольца для них нет в природе.

— Но обручальное кольцо у меня есть, хранится дома в шкатулке. Боюсь потерять.

— А муж у вас ревнивый?

— Не знаю. Стараюсь не давать ему поводов для ревности.

— Никогда-никогда?

— Никогда.

Наверное, ответ мой прозвучал слишком жестко; он внимательно, без улыбки, на меня взглянул.

Я не отвела взгляда. И было похоже, что что-то легкое, невесомое беззвучно от нас отлетело.

* * *

Наш директор настоял, чтобы после конференции нас повезли на родину Сталина, в Гори. Общась с Тamarой Георгиевной, я знала, что грузинская интеллигенция ненавидит вождя-грузина, по чьему приказу был уничтожен цвет грузинских фамилий. Все оказалось не так однозначно. Высоченный памятник Сталину, возвышавшийся на высоченном постаменте над городом, был завален цветами. Желающие посетить помпезное, с колоннами, здание мемориального музея. Ни я, ни Ученый в музей не пошли, отправились гулять по городу.

— Вы считаете, что с этим тоже не нужно бороться? — я указала рукой на громадный памятник, оставшийся позади.

— Этот памятник рано или поздно снесут, слишком велики преступления этого человека, слишком кровавы и жестоки. А насчет бороться... я не вмешиваюсь в политику. Пусть холуи, если им угодно, несут к памятнику цветы, целуют руку, подписывающую расстрельные приказы для их отцов. Меня это не касается. Это прошлое.

Сейчас, когда я вспоминаю эти слова, вижу, что Ученый был неправ. Призрак Сталина продолжает сопровождать российскую жизнь, вмешиваться в нее и требовать кровавой дани.

А сам Ученый — где-то он сейчас? Уехал или вопреки всему продолжает трудиться на родине над своими научными проблемами? Как сложилась его жизнь? Удалось ли ему избежать борьбы? Тогда, гуляя по Гори, мы разговаривали с ним почти враждебно. Как два человека, сначала потянувшиеся друг к другу, а потом что-то для себя решившие.

Был он в тот раз серый, хмурый, словно невыспавшийся. И мне даже показалось, что пахло от него спиртным.

* * *

За окном стемнело. Я сижу у померкшего экрана компьютера в своем полусне-полубодствовании.

Слышно, как внизу, в кухне, Сережа гремит кастрюлями, разогревает еду. Нужно бы спуститься, но нет сил. По щелканью компьютера понятно, что пришло несколько писем, но и их я не могу смотреть. Видно, придется дотянуть эту туго разматывающуюся ниточку до самого конца.

Переписка? Была, была переписка. Не очень живая, с перебоями, но была. Сережа косился на конверты из Ленинграда, я говорила: «Это тот, ученый, помнишь, я тебе рассказывала?» — и уходила в ванную или кухню читать письмо.

Письма были обычные, то есть ничего в них не было странного, необъяснимого. А я вспоминала наше ночное фантастическое хождение по Тбилиси, рассвет на горе, двух ангелов за спиной — и не могла найти объяснения этому чуду. Как такое могло быть? Может быть, все это мне приснилось? Ну да, гора, она существует, называется Мтацминда. Там похоронены выдающиеся люди Грузии. И наш Грибоедов.

Удивительно, что его девочка-вдова была родной сестрой Екатерины Чавчавадзе, которую любил Николоз Бараташвили. Голубоглазой Екатерине подарил он тетрадь со своими стихами — счетом тридцать шесть плюс одна поэма «Судьба Грузии». А Екатерина через много лет передала эту тетрадь со стихами своему родственнику, поэту Илье Чавчавадзе. И тот их напечатал. И если бы Бараташвили был жив, то проснулся бы знаменитым. Но ушел он рано, даже слишком рано; мо-

жет, и вправду слишком много сил положил на борьбу, как шутя предположил Ученый?

Екатерина предпочла бедолаге чиновнику князя Дадияни, а Нина после смерти Грибоедова замуж не вышла, не захотела, хотя желающих было много.

Нина Грибоедова...

И вдруг мне приходит в голову, что еще вчера вечером я вертела в руках листочек со стихотворением о ней. «Молитва Нины». Куда я его запихнула? Вынимаю листочек из дальнего ящика. Сколько же ему лет? Не меньше двадцати, чернила выцвели, бумага пожелтела. Писала я его в Италии в тяжелую минуту, когда шел вопрос, как жить дальше. К тому времени наша переписка с Ученым давно прекратилась, но грузинская тема меня не отпускала.

Молитва Нины

Святая горлица моя,
Сегодня твой покров мне нужен.
Там, в Тегеране, знаю я:
Случилось что-то с милым мужем.

Мне ничего не говорят,
В Тавризе жизнь проходит чинно.
Посольского двора квадрат
Да крик протяжный муэдзина.

Но наплывает смутный шум,
Как звук прибоя нарастая.
Мой муж, России лучший ум,
Один среди этого раздрая.

Во мне растет его зерно,
Комочек бедный мал и тонок.
О Александр, твоя Нино
Сама еще почти ребенок.

Здесь ни друзья и ни враги.
Кругом — одни чужие лица.
Святая Нина, помоги!
В злой час кому еще молиться?

Но если участь суждена
Погибнуть мужу и дитяти,
Я выстою, Его жена, —
Одна поеду на осляти.

Странное чувство, что написано это не мной; наверное, так мать смотрит на сына, приехавшего ее навестить через много лет: и похож, и не похож, вроде совсем чужой, но и брезжит зыбко что-то родное, какое-то оставшееся от детства выражение.

Почему-то начала думать, что бы сказал об этих стихах Ученый. Мне кажется, он бы их одобрил. Не стал бы придирается к последней строке и говорить, что

Нина Чавчавадзе, хоть и принадлежала к княжеской семье, комплексом «избранничества» не страдала, была «всегда скромна, всегда послушна, всегда, как утро, весела». Вранье. Так пишут в учебниках и в житиях. Уверена, что он бы одобрил стремление моей Нины встать вровень с Богородицей в какой-то очень страшный и драматический момент ее жизни.

Ученый бы одобрил, ведь он любил Пастернака, который, когда писал о Христе, думал о Живаго... и о себе. Моя Нина молится своей небесной покровительнице, святой Нине. Что мы о ней знаем? Прочитав «Житие святой Нины», разве поймешь, какой она была, как выглядела?

Одно время я хотела написать о ней, о ее человеческой жизни. Но слишком далеко от нас IV век, слишком мало до нас дошло живых подробностей, только легенда. Отец Завулон, мать Сусанна, родилась в Каппадокии, девочкой с родителями пришла в Иерусалим. Здесь родители занялись служением Господу, а Нина (на иврите это имя обозначает «правнучка») загорелась желанием найти Хитон Господень. Воспитательница сказала отроковице, что Хитон был куплен у римского солдата (ему он достался по жребию) мцхетским раввином, левитом Элиозом и увезен им с собою в Иверию. И Нина решила отправиться в Иверию, именуемую Уделом Божией Матери. Перед отходом было ей видение: Дева Мария вручила ей крест из сплетенных виноградных лоз. Нина поцеловала крест из лозы — и отправилась в путь.

В Иверии одной из первых уверовала в Христа дочь настоятеля мцхетской синагоги первосвященника Авиафара. Был Авиафар, впоследствии также принявший святое крещение, правнуком того самого Элиоза, который купил в Иерусалиме и привез во Мцхету Хитон Господень... А на месте погребения Хитона Господня и дочери человеческой, не пожелавшей выпустить его из рук, молитвами святой Нины был воздвигнут храм Светицховели.

В рассказе о равноапостольной Нине совсем нет подробностей. Пожалуй, только та, что одно время жила она на окраине города в шалаше под ежевичным кустом. Ежевичный куст и шалаш — да, это настоящие осязаемые подробности. Каково ей было среди чужих людей? Чужого языка? Чужих — языческих — богов: Армаза, Задена, Гаца, Гаима? Как выглядела святая Нина? Во что была одета? Что говорила людям? Ничего этого мы не знаем. Но внешне я хорошо ее представляю. Она похожа для меня на еврейскую женщину из Мцхеты, художницу, несшую в корзинке чудесные спелые сливы и одарившую ими нас с сестрой.

* * *

Перед тем как спуститься вниз, решила все же взглянуть на почту.

Пришло три письма: от Раи, от Музыканта и от Франческо. Я начала с последнего. Написано оно было поздней ночью и гласило: **«Кира, если я поеду в Россию? Или в Америку? Как ты думаешь?»**

Написала в ответ: «Можно попробовать. Поищи для себя работу!»

Я была уверена, что работать он не сможет, но, занимаясь поисками, хоть на время, уйдет от своего страха, от своей депрессии.

Музыкант писал: **«Что вы узнали об А.»**

Правильно он мне напомнил, я совсем забыла, что обещала ему сообщить об А. Быстро написала:

«Она наглоталась снотворных таблеток. Но осталась жива. Отбивалась от приехавших санитаров, так как в том мороке сознания, в котором находилась, приняла их за франкистов. Дай Бог ей жизни!»

В ответ пришло краткое: «**Аминь**».
Письмо от Раи тоже было коротким:

Кира
Миша писал, что видел два анджела на горе в Тифлисе. Эта причина любви к Грузии. Я правильно употреблял родительный и предложный?
Спасибо
Рай

Рае я не стала отвечать, отложила на завтра. Закрывает компьютер, спустилась вниз. Сережа спал в кресле у включенного телевизора. Накинув на ходу куртку, я выбежала на крыльцо.

Над головой светили звезды, дул влажный весенний ветер, пахло пробуждающейся землей, раскрывающимися почками, вылезавшей на поверхность травой. В природе начинался новый цикл. Тихо-тихо, почти шепотом, чтобы не разбудить Сережу, я запела «Грузинскую песню». «Виноградную косточку в теплую землю зарюю...»

Многовековые напластования человеческой породы — от святой Нины до Булата Окуджавы — спрессовались и отпечатались в ней, человеческие голоса с древних языческих времен по наше сегодня вошли в нее переливчатым эхом и отражением.

«И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву...»
Я пела — и на душе становилось все светлее и печальнее.

Глава вторая. Остаться в каньоне

Четверг

Утром, когда я встала, погода хмурилась, сразу подумалось, что погулять не удастся. Если только вечером выйдем с Сережей, после урока. Сегодня у меня Грета Беккер. Она приходит по четвергам раз в две недели, к шести часам. Заниматься начала совсем недавно, у нас только шестой урок. Но заинтересовала она меня очень. Так заинтересовала, что я подарила ей свою книжку с рассказами. И что же? Она ее свободно читает, а в тетради выстраиваются столбики незнакомых ей русских слов и выражений. Все-таки есть еще что-то, чего она не знает, хотя и училась русскому в двух университетах: на родине в Германии, потом в Вене, а после еще совершенствовалась на курсах в России.

К сегодняшнему уроку я попросила ее прочитать рассказ «Бурь-погодушка» и сверить его с английским переводом. Перевод делали два моих ученика, друг за другом. Сначала Джен, а после того, как она пропала, Бобби. В итоге он тоже куда-то исчез. Не знаю, связано ли это с рассказом, но двое моих учеников, его переводивших, исчезли в неизвестном направлении.

Хотя «неизвестное направление» неточно сказано, направление-то известно. Джен исчезла в Большом Каньоне. А Бобби уехал на родину — в Колорадо. Вроде бы никакой фантастики... Главное, что я не успела подготовиться к их исчезновению, вернее, уходу. Казалось, мы хорошо занимались, с обеих сторон втянулись в работу, ученики мои делали явные успехи, продвигались вперед — и вдруг...

В один прекрасный день Джен на урок не явилась. Нет, даже не так. Просто не позвонила после лета, не возобновила прерванных на летние месяцы занятий. А

поскольку 22 июля, в день своего рождения, она собиралась побывать в Большом Каньоне, у меня в голове сложилась легенда, которая затем укоренилась в сознании членов моей семьи и некоторых учеников, что Джен из каньона не вернулась... Ну а Бобби — сорвался и уехал к себе в Колорадо, прямо посреди года и посреди наших занятий. О причинах он мне не говорил. Возможно, его уволили из компании, где он работал.

Так что некоторая фантастика во всем этом все же присутствовала.

Набираю на компьютере «Большой Каньон» и читаю статью в Википедии:

Большой Каньон расположен на территории Аризоны. К югу от Аризоны находится Юта, к востоку — Нью-Мексико, на западе — Калифорния. В Аризоне ландшафт пустынный. Большой Каньон образовался около 5–6 млн лет назад в результате движения земной коры. Плато Колорадо поднялось, река стала течь быстрее и агрессивнее вымывать породу: известняк, сланцы, песчаник. За сутки река Колорадо уносит в море около полумиллиона тонн горных пород. Длина каньона 446 км, ширина колеблется от 6 до 29 км, глубина — до 2 м. На территории Большого Каньона живут индейцы: навахо, хавасупай и хуалапай. Резервация навахо самая большая из индейских резерваций в Америке. В ней проживает примерно 174 тыс. индейцев навахо, что составляет только 58 % всех навахо, живущих в стране. Продажа алкогольных напитков на территории резервации запрещена. Нация навахо управляется президентом, избираемым раз в четыре года. На территории резервации всегда летнее время (штат Аризона время не переводит). Нация навахо установила, что любой человек, имеющий, как минимум, четверть крови навахо, может записаться гражданином навахо и получить СЕРТИФИКАТ ИНДЕЙСКОЙ КРОВИ.

Дочитываю последнюю строчку — и странная мысль приходит мне в голову: Джен решила остаться с навахо. Гоню ее от себя, а она не уходит. Бывают же наваждения!

* * *

Хожу взад-вперед по терраске и думаю о Джен. У нас с ней были замечательные занятия. И мне казалось, что нам обеим на них интересно. Могла она просто так прервать занятия? Уйти, не оглянувшись и не позвонив? А почему бы и нет? Сколько раз и именно здесь, в Америке, я замечала, что люди уходят не простившись.

Вот прошел очередной урок, все вроде было нормально, ничто не предвещало обрыва связи, но в следующий раз студент — так здесь называют ученика — не является. Ты можешь ему написать по электронной почте — он ответит вежливо какую-нибудь ерунду или оставит твое письмо без ответа. Но лучше не писать. Лучше сказать себе: что ж, значит, это конец. Он (она) был (была) хорошим студентом, но у каждого свои планы, и необязательно посвящать в них тебя. Для тех, кто рвал любовные связи, в таком расставании нет ничего нового. Ушел — и баста. А что там сзади — какая разница?

Читала, что так уходил от своих друзей Толстой, они переставали его интересоваться, он становился другим, а они — нет, и он уходил к новым людям, уходил не оглядываясь.

Так что же, получается, что наши занятия ей надоели, были больше не нужны? Что ей уже нечего было у меня взять? А почему бы и нет? Она овладела языком в университете, пришла к тебе совершенствоваться. Вы с ней занимались три года. Куда больше? И ведь все эти годы она платила тебе деньги, небольшие, но если посчитать, сколько недель в этих трех годах, и помножить на твой почасовой

«рэйт», получится, скорее всего, весьма внушительная сумма, даром что ты не дружишь с математикой и подсчитывать все равно не будешь.

У Джен семья, с тобой она занималась «от делать нечего», для души. Но... Конечно, конечно, ты хочешь сказать, что вы с Джен подружились, что она рассказывала тебе о своей работе, о своих путешествиях, о своем муже и девочках. А ты приглашала ее на презентации своих книг, делилась впечатлениями от американской жизни. Она взялась переводить твой рассказ. Вы вместе над ним работали, шлифовали, думали, куда бы его послать... Но все это вещи необязательные, стоит ли за них платить деньги? Ну хорошо, а если она... пропала? Но это несерьезно, куда мог пропасть взрослый человек? И не в России, а в Америке? Хотя... Америка, как и Россия, страна чудес. К тому же... Ты хочешь сказать, что Джен была необычный человек, с большой долей эксцентричности? Это правда.

Она была наполовину индианка, и это было написано на ее лице.

Настоящая индейская женщина. Навахо? Может быть. Типичная индейская женщина, с похожими волосами, цветом кожи, разрезом глаз, носом, скулами. Она родилась в штате Нью-Мексико. Отец у нее был испанец, да, да, она говорила, что настоящий испанец — из Испании, а мама — индейская женщина. Она никогда не говорила, из какого племени ее мама.

А экстравагантностей у нее было хоть отбавляй. Она ни разу не пришла на урок вовремя. Опоздания достигали и двух, и трех часов. Иногда она не приходила и звонила в тот момент, когда наш урок мог быть уже на середине: «Я не приду, у меня вечерняя работа». Или: «Не приду, у девочек собрание». Или: «Не приду, ищу новую няню». Или: «Не приду, мой муж не вернулся с дежурства». Или: «Не приду, я уезжаю в Индию». Или... отговорок у нее было не счесть. Но и обязанностей тоже, поэтому-то я всегда считала, что она не врет. У нее были две школьнички-дочки, муж — медицинский резидент последнего года и собственная работа, отнимающая много сил и нервов и требовавшая командировок. Опоздания были свойством ее натуры и бичом. За опоздания ее не раз увольняли с работы, начиная со студенческих лет. Ее первая работа была — официантка в баре, и уволили ее едва ли не на следующий день: она явилась с получасовым опозданием.

Джен, по всей видимости, была программистом от Бога, но в компаниях, где она работала — а сменила она их уйму, — у нее постоянно возникали проблемы. Главная, как я поняла, в невозможности коммуникации; трудно было уразуметь, она ли не выносили сотрудников, они ли ее, но вместе работать не получалось. Поэтому Джен всегда сидела или одна за столом, или одна в комнате. Для меня осталось загадкой, кто требовал ее отделения — коллеги или она сама. В конце концов ее стали посылать в командировки, где она должна была консультировать новичков. Она ездила в какие-то дальние штаты, несколько раз была в Индии, куда многие американские компьютерные компании перенесли свои филиалы.

Путешествовать Джен любила, и это при том, что была больна, — о чем я узнала случайно. Заметила у нее на левой руке кожаный ремешок и поинтересовалась, что это. Джен спокойно ответила, что ремешок служит для инъекций инсулина.

— Так у тебя диабет?

— Да, у меня диабет.

И больше на эту тему мы не говорили.

В ранней юности, в конце 1970-х, она совершила путешествие на Кубу. Это было время «холодной войны», она едва ли не одна летела в самолете, и ей казалось, что за ней следят.

На Кубе ей тоже казалось, что за ней следят — в отеле, на улице, в кафе. Скорее всего, так оно и было. Узнав, что она американка, прохожие удивлялись и отходи-

ли. Зато русский язык, который она уже начала изучать, ей очень помог. Русская речь слышна была в Гаване повсюду. От тех дней у нее остался альбом с зарисовками, а в памяти — почти ничего, один-два эпизода. Города она почти не видела.

— Зачем тебе нужно было это путешествие?

— Я была тогда радикалка, американская жизнь казалась мне и моим друзьям слишком буржуазной. Я хотела увидеть какую-то иную жизнь.

— Увидела?

— Нет, так и не увидела. Помешал страх.

В то же время я дивилась ее смелости и даже какой-то отчаянности.

А сколько было у нее увлечений, дел, обязанностей!

Она ездила восстанавливать Нью-Орлеан после ужасающего наводнения, ездила на свои средства, по своей охоте. Строила там дом для пожилой афроамериканки, лишившейся жилья, сама начертила проект, закупила материалы, уехала только когда дом был готов...

Она состояла членом Научной церкви, ходила на службы, вместе с тем посещала лекции по философии в Гарвардском университете.

Она была попечительницей в школе, где учились ее девочки, и воевала с тамошней администрацией. Один раз до того, что пришлось взять одну из дочерей из школы.

Она училась играть на флейте и в воскресные вечера играла в ирландском пабе с еще несколькими музыкантами-любителями. Приглашала меня послушать, но я так и не выбралась.

Она была костюмером и декоратором профессионального театра, дающего представления у нас в Большом Городе. Какие только постановки ей не пришлось оформлять — от современной комедии до мистерии о Дракуле. Какие только бросовые вещи она не использовала для своего оформления. Для костюма Дракулы я подарила ей присланную мне одной чудаковатой дамой из Солт-Лейк-Сити вязаную накидку с торчащими из нее перьями. Как же она обрадовалась!

Она делала квилты, коврики ручной работы из кусочков разных тканей, — едва ли не единственное ремесло, рожденное в Америке. Правда, по словам Джен, это ремесло подхватили, по своему обыкновению, японцы и, опять же по своему обыкновению, превзошли в нем зачинателей. А уж Джен хорошо разбиралась в этом деле, она участвовала в художественных выставках и приносила мне альбомы с образцами своих и чужих работ.

Нет, Джен была необыкновенной женщиной. Она могла, могла остаться в каньоне, бросить все, расплестись с прежней жизнью — получить сертификат индейской крови и сделаться гражданкой нации навахо.

* * *

После обеда дождь кончился, и я решила сходить в местный магазин за кое-какой провизией.

Как пойти? Можно было идти прямо вдоль шумной магистрали, но я предпочитала обходной путь по безлюдным улочкам нашего городка. Этот путь занимал примерно вдвое больше времени, но все же я пошла в обход. Наша часть города, соседствующая с горой, представляет собой неровный гористый рельеф, и шла я то вниз, то вверх мимо деревянных двухэтажных домиков, окруженных лужайками, где уже зазеленела первая трава, а кое-где уже вылупились и сиротливо притулились синие цветочки, похожие на полевые. В мае на лужайках зацветут высаженные маки, тюльпаны и нарциссы и вдоль дороги будут попадаться цветущие дере-

вья с белой, фиолетовой и рыжей кроной. Не знаю и никогда не узнаю их незнакомых названий. А вот это дерево, стоящее возле красивого красного домика, мне хорошо знакомо. Это голубая ель, высокая и необъятная в объёме, словно чайная баба в широких юбках.

— Здравствуй, — я касаюсь пальцами еловой ветки, сегодня она слегка колючая, а бывают дни, когда еловая ладошка совсем неколючая, дружелюбная.

— Здравствуй, моя красавица! — приветствую ее шепотом. Возможно, местные старые леди, наблюдающие за редкими прохожими из окон (не знаю, существуют ли они на самом деле), смотрят на мое рукопожатие с елкой с недоумением. Я стараюсь не замедлять возле нее шага, пожимаю ей мохнатую лапку и быстро иду дальше.

Возле нашего дома в Америке мы сразу же высадили голубую елочку, хоть и плоховато было у нас с деньгами, а она стоила целых семьдесят долларов. Пока наша елочка маленькая, но, когда я работаю за столом, пишу или читаю, могу видеть ее из окна. Елочка мне — как близкий человек, как те лица, что встречаются на российских улицах.

Когда после Америки приезжаешь в Москву, кажется, что все люди, проходящие мимо, тебе знакомы, у них узнаваемые лица. Правда, сейчас Москва становится все больше азиатским городом, в ее толпе масса восточных лиц. А про елочку вспоминается еще вот что. В Италии Сережа работал в университете города А., и однажды, в пору летних каникул, он показал мне свою тогда пустую лабораторию. Лаборатория как лаборатория: стол, вытяжка, окно. Из окна видна роскошная пальма. Увидела я эту пальму — и тоскливо мне стало, подумалось: если видеть эту пальму каждый день, можно сойти с ума. Вот и высадили мы в Америке елочку под окнами. Родственное дерево.

Наш супермаркет называется «Ханафорд» — по фамилии своего основателя, начинавшего с торговли зеленью с тележки. Сейчас это огромный магазин без особых претензий. Он расположен рядом с центральной улицей, так что здесь всегда много людей. Напротив него возвышается большая краснокирпичная синагога. О характере здания говорит звезда Давида, вывешенная на фасаде. Я приветственно машу могоендоведу рукой.

Удивительное совпадение: наше жилище и в России, и в Италии, и в Америке каждый раз располагалось поблизости от синагоги. Для набожных евреев это был бы подарок, ведь в субботу они не имеют права добираться до синагоги на машине или на общественном транспорте, только пешком. Мы же евреи не только не набожные, но и очень далекие от еврейского обряда. Синагога, в отличие от супермаркета, стоит одиноко, ее не окружают машины, возле нее не снуют люди. Ни разу за все время я не обнаружила, чтобы кто-то сюда входил или отсюда выходил. Чудеса. Это очень напоминало синагогу в А., стоящую в лесах все семь лет нашей там жизни, сколько я ни стучала в тяжелую ее дверь, никто мне так и не открыл. Впрочем, стучала я в дверь из любопытства, а не из надобности. В А., как говорил нам наш друг, католический священник дон Агостино, после последней войны осталась лишь горстка евреев... В Америке же, по статистике, евреев больше, чем где бы то ни было, больше, чем в Израиле, где их около шести миллионов. Зато в России их число заметно сократилось; если я правильно помню, там их теперь чуть больше двухсот тысяч, 0,1 % от всего российского населения.

Купив связку бананов, четыре греческих и два немецких йогурта, пристаиваюсь к кассе. Народу много, но касс достаточно, чтобы очередь шла быстро. В этом магазине работают в основном латиносы и темнокожие. Обычно я быстро завожу дружбу с какой-нибудь кассиршей и потом хожу уже только к ней — так

было и в России, и в Италии, и в Америке — до нашего переезда на новое место. Но на новом месте за все три года жизни в этом городке я так и не нашла для себя своего кассира.

В «Ханафорде» большая текучесть, каждый день работают разные люди, и хотя они по привычке улыбаются покупателю и задают обычный вопрос: «How are you?» — прекрасно видно, что им на покупателя наплевать.

Вот и эта молодая латиноамериканская девушка-кассир с огромными висячими серьгами смотрит мимо меня, куда-то в сторону. Складывая мои продукты в целлофановую сумку, она вдруг неожиданно произносит нечто незапрограммированное. От неожиданности я переспрашиваю: «What?» Она повторяет. И опять я не понимаю: у нее каша во рту, да и не ждала я здесь никаких вопросов. Отрицательно качаю головой, вспоминая, что несколько раз нам с Сережей пытались навязать на кассе какие-то благотворительные билеты. Она смотрит на меня с недоумением. Я беру свою сумку и выхожу из магазина.

Иду мимо парковки, снова киваю моголеноведу, и в голове постепенно из разрозненных кусков составляется вся произнесенная ею фраза: «Did you find everything you were looking for?» Это она спросила меня, нашла ли я все, что хотела в их магазине. Господи! А я, как дура, не смогла ничего нормально ответить.

И я поворачиваю назад. Подхожу к кассе с девушкой с серьгами — она обслуживает сгорбленную седую старушку в джинсах, — говорю: «Excuse me, — она поворачивается ко мне, смотрит вопросительно, ее серьги нетерпеливо колышутся, и я продолжаю: — Thank you, I found everything I was looking for». Девушка кивает и улыбается, я улыбаюсь тоже и медленно, на пудовых ногах, выхожу из магазина.

* * *

По дороге назад вдруг замечаю стоящее в сторонке цветущее деревце. Первое, всех опередившее. Как же я его пропустила! Усыпано белым цветом, словно снегом. И почему-то сразу я вспоминаю московский снежный январь, Рождественский бульвар с заснеженными деревьями и фонарями, кружащиеся над головой снежинки, протоптанную в снегу тропу, по которой идем мы с Алешей. Алеша Рудин — ученик, тогда уже полгода как студент-историк, мы гуляем с ним по зимним московским бульварам.

Я вытягиваю ладонь в цветной варежке и показываю на двухэтажный светло-синий особнячок по левую сторону бульвара: «Смотри, Алеша, в этом доме жила Каролина Павлова, помнишь?»

Еще бы он не помнил.

Полгода назад, на выпускном вечере, он — выпускник, а я — учительница литературы в выпускном классе, провели несколько часов в беседе о Каролине Павловой. В тот год выпускников по причине недавних громких убийств не пускали гулять по Москве, они всю ночь — до осоловления — должны были находиться в родной школе, из которой только и чаяли вырваться. Было уже глубоко за полночь, учителя, приглашенные на ночное бдение, частью ушли, частью подремывали, кое-кто из выпускников еще лениво жевал, кто-то тянул сок, кто-то сонно танцевал под фонограмму советских песен, а я рассказывала Алеше про Каролину Павлову. Почему про Каролину Павлову — Бог весть. Наверное, потому, что на уроках разговора о ней не случилось.

— Представляешь, Алеша, она умерла глубокой старухой, восьмидесяти шести лет, на чужбине, в Германии, она уже говорила только по-немецки, она уже по-немецки писала стихи. Та, кто написала о стихотворстве так, как никто до нее не на-

писал по-русски: «Моя напасть, мое богатство, мое святое ремесло». Алеша, она была большая русская поэтесса, одна из первых русских поэтесс, и мужчины-литераторы, ее окружавшие, не могли ей этого простить.

Помню, к нам подходили учителя и ученики, прислушивались, о чем идет речь, и, предполагая, что я брежу, пытались увести Алешу. Девчонки звали его потанцевать, парни клали руку на плечо: «Покурим?» Коллеги-учительницы, из тех, кто еще остался на дежурстве, тянули меня за рукав и предлагали прошвырнуться.

Не помогало. Алеша не уходил, и я не уходила — и ведь сохранилось это в памяти: неубранный длинный стол, накрытый белой скатертью, и мы сидим с Алешей у самого края и ведем речь — о Каролине Павловой. Из всех возможных форм времяпрепровождения в тот достопамятный вечер мы выбрали самую осмысленную — разговор о поэте.

Но конечно, это не все объяснение, Алеша не уходил, так как не хотел меня обидеть.

В течение двух лет я входила в класс — и отыскивала его, сидящего в первом ряду, ближе к окнам, на второй парте, прямо напротив моего стола. В классе он был «новеньким»: два года назад приехал с мамой-врачом с Урала. Был он большеголовым, некрасивым, с черными живыми глазами, с внимательным и умным взглядом. Мы обменивались с ним улыбкой, и урок начинался. И в конце урока я опять искала его глазами. Как? Нормально? В этом классе он был единственным, ради кого стоило проводить урок.

В те дни я писала повесть на школьную тему, и в герое проглядывали Алешины черты. Герой в моей повести погибал. Я боялась, как бы это не отразилось на Алешиной судьбе, ведь не только жизнь влияет на литературу, но и литература перетряхивает жизнь, кроит ее по своим меркам.

Как-то через несколько лет после нашей с Алешей прогулки по московским бульварам я встретила на улице его маму, неприметную тихую женщину, с некрасивым интеллигентным лицом, с черными живыми глазами, мама и сын были похожи, как близнецы. Она сказала, что Алешу взяли в армию, что их часть направили в Афганистан. Грустная она была, сосредоточенная на своем, на морщинистой шее виднелась простая цепочка от крестика. Что мне было ей сказать? А что мне было сказать себе? Неужели это я накликала на ее сына Афганистан? Больше я сведений об Алеше не имела. А там и уехала из России.

Прохожу мимо одноэтажного домика, от которого до нас уже рукой подать. Его хозяйка Додди выныривает откуда-то со своей обычной метлой. Додди, если она во дворе, вечно занята приборкой. «Хэллоу, Додди», — я машу ей рукой, она кивает в ответ.

За всю почти часовую прогулку встретила мне только она, словно в нашем городке уже поработала нейтронная бомба. И машин-то мало, вот сзади меня едет какая-то ярко-голубая, кто соблазняется такими яркими цветами? Латиносы? Ярко-голубая машина, поравнявшись со мной, притормаживает, из нее выходит высокий белый человек в темных очках — здороваётся и предлагает меня довезти. Наверное, я произвожу странное впечатление: на левом плече модная дамская сумочка, а в правой руке целлофановая сумка с продуктами из «Ханафорда». Американцы могут подивиться и тому, что я хожу в магазин пешком, и тому, что хожу в такую даль. Вот и проснулась у кого-то жалость к соседке, живущей неподалеку, решил подвезти.

Я отрицательно качаю головой: «Thank you, I prefer to walk» — и продолжаю свой путь. Ярко-голубая машина не спеша едет впереди, потом скрывается за поворотом. А у меня тем временем возникают уже другие мысли, беспокойные. А что

если это не сосед, а какой-нибудь криминал, скажем, вышедший из тюрьмы преступник, оголтелый серийный убийца... Если бы ты села к нему в машину, он бы тебя завез в незнакомое место и... волосы вставали дыбом от представлявшихся воображению картин. Нормальные люди не ездят на таких машинах, точно не ездят. Хорошо еще, что где-то неподалеку есть Додди со своей метлой. Додди, добрая Баба Яга. Ей был бы слышен мой крик о помощи. И все же почему он остановился? Хотел помочь? Или там были еще какие-то мотивы?

С бьющимся сердцем огибаю поворот дороги. А вот уже и домик наш вынырнул, вот и голубая елочка. Пришла.

* * *

До вечернего урока еще много времени, но бежит оно стремительно. Нужно успеть позвонить сестре в Москву до того, как она ляжет спать, разница во времени у нас восемь часов. Нужно связаться с дочерью и сыном — оба ужасно занятые, — поэтому хотя бы оставить им сообщение на мобильные телефоны: ребятишки, мы с папой о вас думаем и ждем от вас вестей. Нужно ответить на полученные по электронной почте письма. Их немного, одно письмо с незнакомым адресатом от Ольги Бернхард из Германии. Стоя просматриваю письмо.

Дорогая Кира Семеновна,

Вы, может быть, помните меня. Я много лет назад у вас училась, тогда меня звали Оля Тулина. Потом я вышла замуж за немца и уехала в Германию.

С мужем я развелась, мы совсем разные люди, он намного меня старше, коммерсант, очень любит деньги, хочет, как все немцы, чтобы жена убирала и чистила у него в доме.

Я еще в России закончила биофак Московского университета, в Германии защитила диссертацию. Но в Германии я бы не хотела оставаться, страна и люди мне не нравятся.

Мне кажется, наука сейчас развивается только в Америке, хотела бы туда переместиться.

Галя Кораллова дала мне ваш адрес, она нашла его в Интернете. Мы с Галиной переписываемся, она сейчас в России, тоже развелась с мужем-иностранцем. Мы часто вас вспоминаем и ваши уроки, а повесть «Вешние воды» И. С. Тургенева до сих пор моя самая любимая. Кира Семеновна, что вы думаете, стоит мне переезжать в Америку и как это лучше сделать? Вы ведь уже давно там живете, вам нравится?

Извините, если допустила ошибки, я давно уже пишу только по-немецки и по-английски.

Ваша бывшая ученица
Ольга Тулина-Бернхард

Присаживаюсь к компьютеру с мыслью ответить на это письмецо. Олю Тулину я помню, как и ее подружку Гаю Кораллову. Обе девочки были «не мои», не из гуманитарного цеха, готовились поступать на биофак, литературе, как мне казалось, значения не придавали. Но вот «Вешние воды» Оля назвала любимыми, это даже умиляет. Ответить ей сейчас? Решаю, что напишу письмо после вечернего урока. Сейчас лучше подумаю, что буду делать на уроке с Гретой.

Грета Беккер тоже из Германии, она там родилась, у нее отец — немец, а мать — кореянка. Своим необычным происхождением она похожа на Джен, полуиспанку-

полуиндианку. Похожа и тем, что лицом пошла в мать и внешне напоминает типичную кореянку. Может быть, поэтому Джен ее так интересуется. В прошлый раз я рассказала ей, как Джен на свой день рождения отправилась в Большой каньон. Поскольку Грета по специальности психолог, я спросила ее: как ты думаешь, могла Джен остаться в Большом каньоне? Есть у нее к этому предпосылки? Грета обещала подумать и найти решение, опираясь на свою науку. Это первое. Теперь второе. Грета прочла мой рассказ «Бурь-погодушка». Вот и поговорим с ней о нем. Диктант и упражнения по фразеологии, само собой, на своем месте.

Из окна дует ветерок, пахнет сырым асфальтом и травой, я закрываю глаза... и проваливаюсь в сон.

Я лежу на дне каменного колодца, полдневный жар готов растопить мою плоть, вытянуть из нее все соки и превратить в высушенную мумию. Небо раскалено, по обе стороны узкого ущелья громоздятся желто-оранжевые скалы-башни. Царство камня и зноя. Царство смерти.

Где та река, которая прорубила себе дорогу в горной породе?

Где те сто видов птиц и шестьдесят видов млекопитающих, о которых написано в Интернете? Красноголовые пиранги? Чернохвостые олени?

Где вы, ау? А деревья, кустарники? Кактусы? Агавы? А люди?

Я читала, что это место ежегодно посещают четыре миллиона туристов.

Где они? Где хотя бы один человек, кроме меня? Я лежу, обессиленная, готовая к самому страшному.

Я шепчу не молитву — не знаю я молить, — я шепчу лермонтовское: «В полдневный жар в долине Дагестана / С свинцом в груди лежал недвижим я».

Неужели на этом все и закончится? А сколько было надежд! Сколько было желаний! Как хотелось исполнить свое предназначение. Написать что-то такое, что для кого-то стало бы прибежищем и даже спасением. Как мечталось увидеть родной берег свободным и обновленным. Поездить по миру. Погулять на свадьбе детей. Воспитать внуков. И так нелепо, так дико и даже смешно — погибнуть в Большом Каньоне!

Из последних сил ползу по горячим камням, раздирая колени. Господи, спаси меня! Какая-то тень нависает надо мной. С трудом разлепляю веки и смотрю вверх — на темно-красное разрисованное лицо с перьями над головой.

Это индеец из племени навахо, — проносится в сознании, и я отключаюсь, то есть выхожу наружу из своего кошмарного сна.

* * *

Грета Беккер приезжает с немецкой пунктуальностью, ровно в шесть вечера. Но кроме пунктуальности, в ней, как кажется, ничего нет немецкого, хотя по отцу она немка. Она невысокого роста, шатенка с гладко зачесанными волосами, черты лица — корейские, но в каком-то сглаженном, мягком варианте.

Вообще эта неяркая женщина необычайно мила, у нее приятная улыбка, она легко держится и говорит, но впечатление мягкости, от нее исходящее, скорее всего, обманчиво; я вижу, что она орешек крепкий — училась в Германии и Австрии, три раза ездила на стажировку в Россию, теперь приехала в Америку, работает программистом в компьютерной компании — разве легко это женщине? У Греты две специальности — русский язык и психология, ее мечта — их объединить, открыть психотерапевтический кабинет для русских пациентов.

Мне было интересно, одинока ли она. Оказалось, что не одинока. У Греты есть муж, он художник. И, по всей видимости, «свободный художник». Нигде не рабо-

тает, пишет абстрактные картины под медитативную восточную музыку. На почве медитаций они и познакомились — медитировали в одной группе, вместе возвращались домой, в один прекрасный день Хью перенес к ней свой спортивный коврик, чашку и начатый холст — остальное нехитрое его имущество они перевезли потом из снимаемой им на двоих с приятелем двухкомнатной квартирки. У Греты тоже две комнаты, но есть хорошая кухонька и балкон. Все это она мне рассказала на предыдущих занятиях.

Грета входит улыбаясь, хотя видно по лицу, что очень устала.

— Дать тебе чаю? Или хочешь кофе?

Грета улыбается своей милой улыбкой:

— Кира, я вегетарианка, чай и кофе не пью, водку тоже не пью.

— Водку не предлагаю. А вина могу предложить. Я вижу: ты устала на работе.

— Вина я тоже не пью, я строгая вегетарианка, веган — слышала?

— Слышала. Что ж, садись. Не получается тебя угостить. Муж у тебя тоже веган?

— Нет, он не веган и вообще не вегетарианец, любит мясо.

Грета усаживается, достает свою толстую тетрадь, где записывает слова и идиомы, вытаскивает мою книжку «Любовь на бегу», которую я ей подарила. Как всегда, урок начинается с вопросов: я задаю ей, она задает мне.

— Грета, какое искусство ты любишь, если исключить литературу.

— Музыку. А ты?

— Я тоже музыку. Я думала, что ты скажешь «живопись», ведь у тебя муж-художник.

Она молчит, потом говорит не слишком уверенно: «Живопись я тоже люблю».

— Ту, что сейчас в моде, — инсталляции? Или, может быть, абстрактную?

Опять она не торопится отвечать, глядит куда-то в сторону, наконец говорит:

— Абстрактная живопись мне нравится, но меньше классической, а инсталляции я не люблю, ничего не могу с собой поделаться.

Грета пристально смотрит на меня:

— А ты любишь инсталляции?

— И я не люблю. Я не люблю игр с искусством, мне хочется, чтобы живопись была живописью. Как-то я попала на выставку Кандинского — и увидела, что его абстракции — это хвала мирозданию, свету, краскам... Ты говорила, что Хью пишет абстрактные картины. Они не похожи на картины Кандинского?

Почему у меня все время выскакивает ее муж? Такое чувство, что эти вопросы ей тяжелы. Она снова говорит после паузы:

— Нет, они не похожи на Кандинского.

Стоп. Больше на эту тему не надо. Ей она неприятна.

— Теперь, дорогая Грета, спрашивай ты меня — о чем хочешь.

И Грета неожиданно заводит разговор о Джен. Видно, та ее действительно заинтересовала.

— Ты сказала, что она пропала, что след ее затерялся. Мне бы хотелось услышать подробности.

— Понимаешь, — начинаю я, — она пропала для меня. Может быть, на самом деле она не пропала. Но для меня след ее затерялся. Больше она не появлялась и не звонила. В тот день, 22 июля, я решила поздравить ее с днем рождения. Позвонила ей по мобильному. Я знала, что этот день она собиралась провести в Большом Каньоне, вдали от своего дома и своей семьи. Я имею в виду ее мужа и двух девочек, ее многочисленные индейские родственники жили как раз поблизости от каньона, в Нью-Мексико.

— Ты дозвонилась?

- Нет, в трубке играла какая-то музыка, дозвониться до Джен мне не удалось.
- Ты хотела, чтобы я сделала психологический прогноз для Джен?
- Ну да, мне интересно, могла она остаться в каньоне, хотя бы теоретически?
- Я тебе отвечу: могла, теоретически могла — и вот почему.

Грета раскрывает свою тетрадь, находит нужный столбик выписанных аргументов и читает:

Джен не находила удовлетворения ни в одной сфере своей жизни.

Идем по порядку.

Первое: на работе. Работу она постоянно меняла, ей не хотелось общаться с сотрудниками, а им — с нею, или ей так казалось, она могла себя в этом убедить. В ней жил комплекс неполноценности. Прижиться на одном месте мешали также постоянные опоздания. По всей видимости, у нее был комплекс «избранничества», когда хочется, чтобы тебя все ждали, совмещенный с комплексом неполноценности.

Второе. Все ее попытки заменить работу каким-нибудь увлечением кончались ничем, увлечения не приносили дохода, скорее наоборот, требовали трат, к тому же мотивация заниматься тем или иным из ее многочисленных «хобби» была кратковременной и опиралась на желание получить удовольствие. Однако всякое длительное усилие лишало ее удовольствия и приводило к скуке и пресыщению.

Третье. Дома у нее не складывались отношения с мужем и детьми. Муж пропал на дежурствах в больнице — ты говорила, что он был резидентом в госпитале, — и дома бывал редко, а учитывая, что Джен вечно отсутствовала из-за своих бесчисленных «хобби», их контакты, в том числе сексуальные, свелись к минимуму. Для дочек пришлось взять няню. Джен не находила с ними общего языка, они сердились на мать, так как она, будучи членом школьного попечительского совета, поссорилась с директором и перевела одну из девочек в другую школу. А сестрам хотелось быть вместе.

К тому же Джен болела диабетом, а эта болезнь располагает к депрессии и приводит к разочарованию в жизни.

Ввиду всего перечисленного становится ясно, что Джен была недовольна своей жизнью и хотела ее кардинально поменять. Свои мечты она могла связать с детством в Нью-Мексико, когда она находилась под защитой и опекой своей семьи, жила среди индейских родственников, когда у нее еще не было ни проблем, ни тяжелой болезни.

День, который был ею выбран для коренного изменения жизни, иначе для второго рождения, не случайно пришелся на день ее рождения — 22 июля.

В этом месте Грета делает паузу и, не глядя в тетрадь, заканчивает.

Мой вывод: Джен могла остаться в каньоне и присоединиться к людям своей крови, индейцам навахо.

Она захлопывает тетрадь.

Нужно сказать, что мною владеют сложные чувства. На первый взгляд вывод Греты совпадает с моим предположением, но при этом он кажется мне слишком категоричным. Все же мое предположение было чисто художественное, мифологически-метафорическое, я сама до конца не верила в то, что говорила, — и вот мне дарована такая мощная поддержка со стороны науки психологии. Высоко ценя науку психологию, я, однако, не склонна чрезмерно ей доверять, особенно в части интерпретаций человеческого поведения. Психологи часто выравнивают зигзагообразную линию, они находятся под гипнозом своих же концепций.

Довольно часто мне хочется сказать психологу, прекрасно разбирающемуся в чужих проблемах: «Исцелился сам!» Грете, естественно, я этого не говорю, наоборот, выражаю то чувство, которое владеет мною наряду с первым, подспудным, — восхищение:

— Здорово! Слава науке психологии!

Ну да, я слегка лицемерю, но самую чуточку, все же Грета действительно сумела собрать из внешних разрозненных черточек, рассыпанных в моем рассказе о Джен, ее цельный психологический портрет. Сумела она и дать прогноз поведения Джен в определенной ситуации. Молодец! Bravo! Грета довольно улыбается. Однако какова! Я ведь так и знала, что ее внешняя милота и беспомощность — только оболочка, мало отражающая сущность. А сущность-то очень-очень крепкая, прямо железная.

Урок продолжается, мы занимаемся идиомами, пишем с нею проверочное упражнение.

Грета демонстрирует прекрасное знание материала, идиомы отскакивают у нее от зубов.

В конце урока спрашиваю ее про рассказ, кивая на лежащую на столе книжку:

— Как тебе рассказ? Прочитала? Сверила с переводом?

И тут Грета прямо-таки загорается. Она говорит, что читала рассказ «Бурь-погодушка» до полуночи, не могла оторваться.

— Он такой полезный для психолога. Вот возьмем героя. Своя жизнь ему не интересна, и он наблюдает за соседями, в основном за соседкой. Прислушивается, приглядывается. Потом когда он с нею познакомился и попил с нею чаю, то решил, что она его опоила каким-то специальным любовным напитком, чтобы привлечь. Он живет в мире грез и литературы — из-за этого работает в библиотеке и хочет стать писателем. В самом конце он собирается в Россию, чтобы найти песню про калину; он, как какой-нибудь дикарь, считает, что в песне разгадка поведения соседки. Опять литература, опять миф. Он начитался книг, наслушался сказок и легенд, а реальной жизни не видит. Его поведение направляется ложными подсказками сознания.

Тут мне захотелось вмешаться в пылкий Гретин монолог.

— Ты считаешь, Грета, что он психически нездоров?

— Конечно, не то чтобы нездоров — неадекватен, его нужно лечить, но, естественно, не в больнице, он нуждается в поведенческой коррекции. Психотерапевт должен ему помочь отойти от фантазий и взглянуть на мир здраво. Он должен заменить его ошибочные когниции на рациональные.

Признаться, после этих слов я поежилась. Мне пришло в голову, что в замятинской антиутопии, романе «Мы», крамольного изобретателя подвергли маленькой операции: удалили ту часть мозга, что заведует фантазией.

Грета между тем с увлечением продолжала:

— Русская девушка тоже по-своему не адекватна. Почему она не уходит от человека, который ее обманывает, изменяет ей с другой? В ней выработалась сверхзависимость от партнера, она не способна его поменять на кого-то другого, здесь налицо эффект прилипания...

— Потому что она его любит? — спрашиваю я со слабой надеждой.

Грета удивлена моим вопросом:

— Любит? Того, кто одновременно с ней имеет другую женщину? Или вот, положим: когда она на работе, ее партнер приводит в их квартиру своего приятеля, и они развлекаются в той же самой кровати, а потом еще и фотографируются... как это? — забыла это русское выражение... «в чем мать родила». Разве после этого можно не уйти?

Она смотрит на меня, смотрит почти с отчаянием.

Чего она хочет — подтверждения? Но в жизни случается всякое, и не всегда просто принять решение, особенно если любишь...

— Но, Грета, ты забываешь, ведь любовь... Окуджава писал: «Любовь такая штука, в ней так легко пропасть...»

— При чем здесь любовь? При чем здесь Окуджава? — Грета сильно распалилась, почти кричит: — Но даже если любовь, партнер растоптал ее чувства. Если женщина в таком случае не уходит, она находится в плену у ложных когниций, ей нужно сменить их на рациональные.

Стараюсь говорить как можно спокойнее:

— Спасибо, Греточка, ты славно разобрала характеры моих героев! Если хочешь, прочитай к следующему разу рассказ «Браслет», он тоже располагает к когнитивному анализу.

Мы прощаемся. У самой двери, спохватившись, Грета выписывает мне чек за это занятие.

— К чему такая спешка? Ты могла бы заплатить на следующем уроке.

Но она уже протягивает мне чек и выходит.

* * *

На часах уже половина восьмого, за окном заметно стемнело, фары Гретиной машины прорезывают сумрак, слышен скрип шин, она выезжает на дорогу. Со второго этажа спускается Сережа — видно, приехал, когда мы с Гретой занимались. Готовлю для нас ужин и думаю о прошедшем уроке. Грете совсем не заинтересовал мой рассказ, то есть она разглядела в нем только схему: *он живет тужой жизнью, она «прилепилась» к плохому человеку*. Не увидела здесь человеческих отношений, ведь если любишь, то часто прощаешь, а русские женщины как раз склонны прощать. Правда, что-то личное в ее разборе прозвучало. В рассказе не было, что муж в отсутствие жены приводит в дом своего приятеля, надо полагать, для гомосексуальных утех... Это Грета вписала в текст от себя.

Горюшко! Как распространилась эта зараза, как превратилась в нечто привычное. Как просто стала альтернативой обычной человеческой любви мужчины к женщине. И как страшно в этой ситуации за сына!

А у Греты дома происходит нечто катастрофическое. Недаром я почувствовала, что ее муж на сегодня — запретная тема. Муж, живущий на средства жены, сидящий дома и пишущий абстрактные картины... И, как оказалось, еще и развлекающийся с приятелем. Ужас! Я не написала план следующего урока с Гретой, завтра нужно будет это сделать. Всегда стараюсь готовиться заранее, по горячим следам, когда все еще свежо в памяти. Грета не посмотрела перевод рассказа на английский. Мне так хотелось, чтобы она на него взглянула — она прекрасно знает оба языка... Да, но совершенно глуха к литературе, ее не тронули переживания героев.

Иное дело Бобби, тот, кто переводил рассказ после Джен, можно сказать, доводил его до ума. С Бобби вообще фантастическая история. Дала ему рассказ с тайной мыслью, что он скажет, похоже это на правду или нет. Все же своего героя, юного американца Рода, я выдумала. Бобби, настоящий американец, ненамного старше моего Рода, прочитав рассказ, мог мне сказать, совпадает ли это хотя бы отчасти с тем, что есть в жизни. Хорошо помню, как все было.

Бобби, с огромным портфелем в руках, вошел, как обычно, пригибаясь на пороге. Высокий его рост и некоторая избыточность веса способствовали застенчивос-

ти, он горбился, особенно когда входил в дверь, да и вообще передвигался неуклюже, словно плохо держался на ногах.

— Садись, Бобби, — я раскрыла свою тетрадку, — ты подготовил десять вопросов?

— Кира, можно мы начнем с рассказа? Я его прочитал, — он достал книжку из объемного своего портфеля; посредине, там, где помещался рассказ «Бурь-погодушка», все пестрело закладками.

— Конечно, конечно. Мне приятно, Бобби, что тебе, по-видимому, рассказ понравился. Когда я его писала, я плохо знала американскую жизнь, у меня не было прототипа...

Казалось, Бобби не слушал, он хотел высказать что-то свое, ему нетерпелось, он даже как-то нервно вздрагивал.

— Говори, Бобби, — я приготовилась слушать.

Но он молчал, не находя слов. Вообще его русский язык был вполне сносный, даже свободный, но тут, видно, он отказал.

Бобби качнул головой — и заговорил по-английски. Он сказал, что герой «Бурь-погодушки» — это он сам, Боб Барби, только выведенный под другим именем. Что у него с героем все совпадает: он так же одинок, как Родди, и живет один в чужом, далеком от его родного Колорадо городе, что мать, бросившая его в детстве, в последнее время тоже ему звонит и хочет наладить контакты, но он на них не идет. Что он так же, как мой герой, любит читать и мечтает сделаться писателем — тут он внезапно сильно покраснел: видно, признание нелегко ему далось. Что у него тоже была русская девушка, правда, не здесь, а в России, и эта девушка обманула его точно так, как обманула Рода его Ола.

В этом месте я решила вмешаться, чтобы вставить хоть несколько русских слов в поток английской речи, а еще — чуть-чуть остудить его чувства. Бобби был красен и потен, он вынул из лежащего на полу, у его ног, портфеля бумажный платок и обтер им свое влажное крупное лицо.

— Ты понял, Бобби, что русскую девушку зовут Оля? Просто твой американский двойник не может произнести это имя с мягким эль, у него получается Ола...

Бобби смотрел на меня непонимающе, похоже, русские слова в этот момент до него просто не доходили. Он продолжил по-английски:

— Единственное, чего я не понял, — это песня. Я знаю, что у русских много красивых народных песен. И много песен про калину, именно про калину пела в твоём рассказе Ола. Я, как и Род, стал искать русскую песню про калину, правда, Родди искал ее в сборниках, а я — на Интернете. Но я тоже ничего не нашел. Песни с названием «Бурь-погодушка» там нет. Тогда я догадался, — до сих пор он говорил с опущенным вниз лицом, но тут поднял глаза и посмотрел прямо на меня, — я догадался, что ты, Кира, выдумала эту песню. Ее не существует в природе. Я правильно догадался?

Глаза у него были черные, на круглом толстом лице они поражали своей живостью и блеском, где-то я уже видела похожие глаза, кого-то он мне напоминал.

С минуту я сидела, раздумывая. Затем повернулась к Бобби спиной — и запела. Начала тихо-тихо, как и следовало, когда просишь, и не кого-нибудь из человеческого племени, а бурю-непогоду, бурь-погодушку.

Повянь, повянь, бурь-погодушка,
Во мой зелен сад!

Спиной чувствовала: Бобби замер, сидит, как прищипленный, слушает. Вот и

второй раз повторила ту же просьбу, погромче, чтобы расслышала, поняла та нечеловечья природная сила, чего я хочу от нее. Пусть налетит, пусть нанесет урон, видно, пришло время, пришло время для девичьей просьбы, для зелена сада.

В моем саду да во садике
Калина растет.

И опять повторила две строчки, повторила во всю силу легких, сколько было голосу, эх, нет рядом сестры, с которой с детства пели мы вместе. Прилети же, непогода, слышишь мой зов? Прилети, есть чем тебе пожить в девичьем зеленом саду. Сладкая в нем калина, горькая в нем калина, красная в нем калина, калина растет.

Я прислушиваюсь к последнему затухающему звуку. Кончилась песня. Поворачиваюсь лицом к Бобби. Он сидит, подавшись туловищем вперед, прислонив к глазам бумажный платок. Кажется, он почувствовал песню. Я перевожу дыхание и говорю весело, стараясь скрыть дрожь в голосе:

— Ты понял, Бобби, песня существует, я ее не выдумала.

Он кивает.

— И я повторю тебе то, что говорила русская Оля американцу Роду: песня эта магическая, любовная, приворотная. Ты понял?

Бобби кивает с таким растерянным видом, который сам за себя говорит, конечно, ничего он не понял.

Да и откуда ему, американцу, понять, если я сама дошла до смысла «Бурь-погодушки» не так давно, а пели мы ее с сестрой с детства.

— Понимаешь, Бобби, этой песней девушка приманивает к себе любовь. А что такое любовь? Тайфун, циклон, шторм, ураган... Стихия. Ты согласен?

Бобби ерзает на стуле, его распирают эмоции. Когда он поднимает на меня глаза, я внезапно понимаю, кого он мне напоминает — Алешу, Алешу Рудина, у них похожий взгляд.

— Ты хочешь что-то сказать?

— Нет, я хочу тебя слушать, продолжай, пожалуйста.

И я продолжаю:

— Девушка молит ураган, шторм, циклон, чтобы он пришел. Девушке хочется изведать любовь. В народной поэзии используются свадебные метафоры: зелен сад, дерево калина. Ну а ураган, шторм, циклон, бурь-погодушка — это, наверное, добрый молодец. Или то, что он с собой несет. Калина — это сладость любви. Но калина — горькая ягода. В любви есть и сладость, и горечь. Ты согласен?

Бобби с громким восклицанием вскакивает со стула, спотыкается о портфель, чуть не падает, но все же сохраняет равновесие. Ужасно комичная сцена, мы оба смеемся.

Таким мне запомнился тот урок.

* * *

За ужином спрашиваю Сережу, мог бы он ездить на ярко-голубой машине.

— Такой, как у нового соседа?

— Какого соседа?

— Ну того, что недавно сюда переехал, — Сережа кивает на окно, из которого можно видеть небольшой домишко позади нашего. Из него давно уже выехали владельцы, и он, как мне казалось, необитаем. — Ну ты даешь, ничего вокруг не ви-

дишь, — удивляется муж, — он уже с неделю там живет, видно, снял этот домик, и машина его во дворе — ярко-голубая, «тойота-камри». Вон стоит, взгляни.

Но за окном ночь, и цвет темнеющей возле дома машины неразличим.

Сережа между тем, отвечая на мой вопрос, говорит, что нормальные мужики ездят на неброских машинах: бежевых, серых, в крайнем случае белых, но никогда на красных, синих, желтых и зеленых. Посему сосед вызывает у него подозрение, что-то с ним не то. Признаться, я тоже всегда так считала, но тут вдруг закралось в мозг сомнение. Почему у нас в чести такая блеклая палитра? А может, это та самая боязнь яркости, цвета, выделенности, что отличала советских людей? И мы этот стереотип унаследовали и несем с собой?

Наверху присаживаюсь к компьютеру. За время урока пришло несколько писем. Первое — от Оли Тулиной:

Дорогая Кира Семеновна,

Посылаю второе письмо вдогонку за первым, чтобы вы сразу мне ответили на оба.

Знаете ли вы про судьбы каких-нибудь моих одноклассников? С кем из них переписывается?

Я регулярно общаюсь только с Галей Коралловой, она живет в Подмоскowie, стала ветеринаром, сумела совместить свою любовь к животным с профессией. Она неплохо зарабатывает, открыла лечебницу для зверья. Жалуется на высокую арендную плату и на отсутствие личной жизни — зверье отнимает у нее все время. Слышали ли вы про Алешу Рудина? Мне всегда казалось, что он ваш любимый ученик, литературу он точно знал лучше всех нас. Алеша воевал в Афгане, но вернулся живой. А погиб он случайно: попал под маршрутку недалеко от нашей школы, там, если помните, нигде нет нормального перехода через дорогу. Галка мне писала, что не смогла поехать на похороны — из-за своих подопечных. Извините, если я вас расстроила.

Жду от вас ответа,
Ольга Тулина-Бернхард

Второе письмо пришло совсем недавно, оно было послано минут десять назад Гретой Беккер. В нем было совсем мало слов. Но я читала их и перечитывала, не понимая смысла.

Грета отказывалась от уроков.

Грета отказывалась от уроков? Ну да, вот она пишет, что отказывается от уроков. Просит извинить, но у нее нет сейчас возможности заниматься. Конечно, нет возможности заниматься.

А ты думала, есть у нее возможность заниматься? Она тяжело работает, кормит себя и мужа, да и сейчас у нее возникла сложная семейная проблема. К чему ей твои уроки?

Я понимаю, понимаю, но почему так сжимается сердце. Успокойся, слышишь? Ты не имеешь права переживать из-за каждого ушедшего ученика. У всех свои причины. Ты, как правило, не виновата. У них у всех достаточно причин. У Джен были свои причины, у Бобби свои, у этой девочки, у Греты Беккер, — свои. Почему ты решила, что она надолго? Она же для своей души занималась, как и Джен, как и Бобби. Они все занимались для своей души. А кто из американцев будет платить деньги просто так, из прихоти? Не из богатых американцев, а из работающих? Поняла? Поняла, дуреха? Успокоилась немного? Нет еще?

Оставляю компьютер и спускаюсь вниз; накинув куртку, выхожу на нашу терраску.

Господи, как прекрасен твой мир! Какое высокое, какое бездонное небо, как много звезд!

Неостановимо вибрирует мысль. Первой из ушедших была Джен. В конце концов, Джен могла действительно остаться в каньоне.

Хотя... хотя... есть у меня одно воспоминание. Было это года четыре назад, еще на нашей старой квартире. Я вышла на свою обычную прогулку вдоль дорожной магистрали — больше там негде было гулять. Впереди меня, шагах в десяти, шла высокая худая женщина, чем-то неуловимо напоминавшая Джен. Я старалась ее догнать, чтобы заглянуть в лицо, — не могла. Несколько раз, правда довольно робко, я звала: «Джен, Джен!» Она не оборачивалась. А потом резко свернула с дороги в переулок. Так я и не знаю определенно, Джен это была или нет. Может, все-таки Джен? Но, может быть, не она. Мне даже спокойней думать, что Джен осталась в каньоне.

Иначе как объяснить, что она не написала и не позвонила?

Я вдыхаю сырой ночной воздух и рукой вытираю слезы, текущие по лицу.

Глава третья. Египетские ночи

Пятница

Мой голос для тебя и ласковый и томный... Мой голос для тебя и ласковый и томный, а дальше, как дальше? Тревожит позднее молчание ночи темной... молчание ночи темной... Как хорошо! Как послушно ложатся слова, как точно откликается рифма. Ночи темной... Не хочется шевелиться. Только лежать и вспоминать стихи. Неужели еще ночь? Открываю глаза. Светло. Смотрю на часы — семь. Надо вставать. Одеваюсь и думаю: к чему бы это? Пробуждение под музыку пушкинского стиха. На лекциях в Московском университете Учитель, прочитав это стихотворение, задавал студентам задачу: где в это время любимая женщина? С поэтом? Или ее нет в комнате, и здесь одно воспоминание? А потом сам отвечал, понимая, что поставил нас в тупик: воспоминание, ее с ним нет. Звуки, которые он слышит: «Люблю, твоя... твоя...», проносятся в его воображении. Почему он так думает? А вы посмотрите, какой эпитет у слова свеча. Печальная. «Близ ложа моего печальная свеча...» Этим все сказано. Ее нет с ним, но иллюзия, что она рядом, — он ее представляет, когда ночью пишет стихи.

Что у меня сегодня? Сегодня у меня Таня. И мы с ней читаем «Египетские ночи». Так что сон в руку, сон в руку. Египетские ночи, Клеопатра, сладострастие... Египет — это, конечно, Восток, Азия, но в те времена, во времена Клеопатры, это еще и немного Греция, это эллинистический мир, ведь Египет был завоеван Александром Македонским, основавшим на реке Нил город своего имени — Александрию. Клеопатра знала греческий, как, впрочем, и много других языков, включая берберский. Пишут, что она знала и древнееврейский, и латынь. Интересно, на каком языке она разговаривала с Цезарем? Скорее всего, на греческом. Это был язык учености, общения, любви, а латынь была языком политики и войны. Египетские ночи, египетские ночи.

Читала, что к прибывшему в Александрию уже далеко не молодому Цезарю юной царице помог проникнуть сицилийский рыбак. Под покровом ночи он провез ее по Нилу на лодке, а потом спрятал в мешок или ковер, здесь версии расходятся, и тайком пронес в покои римского военачальника. А там... там дело было уже за ее чарами, за ее магической привлекательностью для мужчин. Египетские ночи. Да, египетские ночи... У Пушкина, впрочем, своя Клеопатра. О ней будем говорить се-

годня с Таней. О ней и еще об ее «двойнике», о лермонтовской царице Тамаре. Однако что это я? Пора день начинать.

В окне, что рядом с компьютером, видна наша голубая елочка. Привет, красавица, с добрым утром! Солнце уже проникло в комнату, но дома прохладно, градусов пятнадцать, дрожа от холода, зажигаю в ванной рефлектор и отогреваюсь. Когда, умывшись и переодевшись, я спускаюсь вниз, Сережа готовит себе кофе. Почему-то он сегодня не спешит, как обычно, — завтракает одновременно со мной. Оказывается, он собирается сейчас в Б., в филиал их компании; назад поедет мимо нашего дома, так что, если я хочу, могу поехать с ним.

— В Б. я пробуду около часа, ты успеешь зайти в магазин и даже прогуляться.

Я киваю — и мы отправляемся.

Люблю ехать на машине, конечно, в качестве пассажира, люблю дорогу. Ехала бы и ехала. Это чувство осталось еще с 1990-х годов, с Италии. Туда мы отправились по направлению к неприметному городку А. на Адриатическом побережье, где Сережа получил маленький грант в университете. Безотказный наш «жигуленок», по имени Лилечка, прокладывал путь через Белоруссию, Польшу, Чехию, Австрию. В дороге были пять дней, останавливались в дешевых домашних пансионатах, не зная языка, не имея денег; было страшно, непривычно, сердце обмирало от ужаса перед будущим, но дорога... дорога была живительна, она спасала.

Мне нравится, как Сережа ведет машину — очень спокойно и уверенно, без рывков и вихляний. Мне необходимо иногда отрываться от стола, от своих занятий, вот и стали для нас привычными такие броски то в Б., то в К., то на Океан, на нашу заветную тропу. Обычно вылазки приходятся на выходные; в будний день, пожалуй, мы едем впервые.

Б. считается частью Большого Города, но сильно от него отличается. Именно в этом районе с давних пор селились российские эмигранты, по большей части евреи. Не потому ли в облике Б. есть для меня что-то от местечка? Много дореволюционно-патриархальных вывесок, много евреев в шляпах, много синагог. В то же время Большой Город, особенно его центральная часть, с того самого первого дня, когда мы на экспресс-автобусе прибыли с подростком-сыном из нашего городка, показался мне страшно похожим на Москву. Его бульвары словно приходились родственниками московским бульварам. И главный из них — сильно напомнил родные «Чистики», Чистые пруды; впечатление усилилось, когда мы вышли к небольшому пруду, по которому плавали утки и лебеди и сновали большие лодки с беззаботными — взрослыми и маленькими — пассажирами.

Едем по Б. Вот если сейчас свернуть налево, попадешь к дому Старого Поэта. Смотрю на Сережу:

— На минуточку зайдём, а?

И мы сворачиваем. Против правил оставляем машину внизу (для стоянки нужен стикер «резидента» здешних мест), быстро поднимаемся по лестнице, звоним, дверь подъезда не сразу, но открывается, идем по коридору направо — и Сережа нажимает на звонок в квартиру Поэта.

Открывает незнакомая женщина со строгим лицом.

— Простите, — говорю я по-русски, как-то нет у меня сомнений, что женщина — русская, — Наум Семенович и Люба... мы к ним.

Женщина ведет нас за собой. В спальне, на своей постели сидит Старый Поэт. Похоже, что Любы нет. Мы здороваемся, я целую его в седую с редкими волосами голову, он вслепую нащупывает и пожимает мою ладонь.

— Где Любочка, Наум Семенович?

— Увезли. Час назад Любаню увезли. Вот Люсенька. — дочь, — вызвала мне помощницу.

Женщина с сурово поджатыми губами кивает и представляется:

— Полина, — и уходит в кухню.

Взгляд Старого Поэта бродит в растерянности.

— Она успела собраться? — только и могу я выдавить из себя.

— Она? Собраться? — видно, он плохо понимает мой вопрос, думает о другом. Легко понять о чем. Люба обычно с ним, он практически первый раз оказался без нее. Она для него опора в материальной жизни, ее сердцевина. А душа его с самого начала была не здесь — в России.

Совсем недавно ушел ближайший друг Старого Поэта, критик, самый младший из всего их московского кружка. Оставшихся на родине друзей можно пересчитать по пальцам. И хотя в Москву Поэта по-прежнему тянет, но для поездки не то уже здоровье, к тому же нет там теперь ершистого, нежного душой Владика, да и Любочка в одночасье сдала, вот угодила в больницу.

— Не волнуйтесь, Наум Семенович, здесь очень хорошие врачи.

— Почему она не звонит? Она сказала, что позвонит, как только приедет.

— Значит, что-то помешало. Может быть, ее сразу взяли к врачам.

Через минуту он снова вскрикивает:

— Кира, она должна звонить, почему нет звонка, как ты думаешь?

Он взволнован, нервничает, Люба всегда действовала на него успокаивающе, была его глазами и руками, читала вслух, давала лекарства и еще давала то, что получает ребенок возле матери, — чувство защищенности. Он обхватывает голову руками, покачивается, словно молящийся еврей. Ожидание становится нестерпимым.

— Послушайте, Наум Семенович, так нельзя, давайте споем. Вы ведь знаете революционные песни? Я всегда, когда мне плохо, пою революционные песни.

— Кирочка, я не умею петь и революционные песни терпеть не могу, они все бесчеловечные.

— Зато они заряжают, они дают силы и укрепляют дух. В Италии я их пела сыну, когда он не засыпал, он меня сам просил: «Мама, спой про Щорса». Почему-то Щорс был у него любимый. Давайте попробуем.

И я затагиваю:

— «Шел отряд по бережку, шел издалека. Шел под красным знаменем командир полка».

Старый Поэт минуту прислушивается к словам, потом начинает подтягивать слабым негибким голосом:

— «Шел под красным знаменем командир полка».

— «Голова обвязана, кровь на рукаве», — запеваю я, и Поэт подхватывает сам, без подсказки:

— «След кровавый стелется по сырой траве».

— «Э-э-э, по сырой траве», — это поем мы уже втроем, ибо в хор вступает Сережа.

Строгая Полина заглядывает в комнату, с удивлением смотрит на нас. И тут раздается звонок. Сережа хватает трубку и подает ее Поэту. Тот, тяжело дыша, кричит в трубку:

— Любаня, это ты, ты?

На том конце провода ему отвечают. Его лицо яснее, и теперь он уже не кричит, а шепчет:

— Любаня, со мной все в порядке. Как у тебя? Я тебя буду ждать, Любаня. Слышишь? Буду ждать.

Мы снова едем по Б. Сережа останавливается возле книжного магазина «North

Palmira», я выскакиваю из машины, а он едет дальше, по своим делам. В магазине никого, нет не только посетителей, но и продавца. Видно, он где-то поблизости, в подсобке. Интересно, кто здесь сегодня? Сам хозяин? Когда-то... впрочем, пора уже забыть, давно это было. А, вот кто здесь сегодня! Из подсобки выходит милая женщина Мила, и мы радостно киваем друг другу. У Милы был свой небольшой магазинчик неподалеку, она торговала видеокассетами, матрешками, русскими книгами. Среди прочих на полке у нее стояли и две мои книжки «Итальянский карнавал», и я при случае всегда к ней заглядывала, втайне предполагая, что книжек на месте не увижу, одну действительно очень быстро купили, вторую же я видела еще долго...

А сейчас Мила на паях объединилась слевой, владельцем «Северной Пальмиры», и, кажется, попала в подчинение. Он человек капризный, уклончивый, преследующий свой интерес. При таком характере... впрочем, не уверена, что именно с характером связана та странная история, что приключилась у меня с ним в давнопрошедшие годы. Подхожу к полкам с современной литературой, рассматриваю названия, имена. В запасе у меня час, и, скорее всего, этот час я потрачу в книжном, хотя хотелось бы и погулять, и купить что-нибудь в русском продуктовом магазине «Рынок», что в двух шагах отсюда. Но как оторваться от такого богатства! Тут и часу не хватает.

В дверь входит невысокий человек в распахнутом полушубке, кудрявый, в темноте не видно его лица. Здоровается со значением: «Здравствуйте, Кира». Ага, это он, Лева, собственной персоной. Но с тех давних пор утекло уже столько воды, что можно спокойно ответить ему в тон: «Здравствуйте, Лева» — и повернуться к книгам. А он, что-то негромко сказав Миле, уходит в подсобку.

Мы тогда только приехали на Восточный берег, в Большой Город. Нужно было начинать жизнь заново — в который раз! В том возрасте, когда люди уже снимают урожай, мы не имели ничего: ни урожая, ни денег, ни собственности — мы вдвоем с Сережей да двое неоперившихся отпрысков.

У меня к тому времени не было напечатано ни строчки, хотя писала я с юности, в основном в драматическом роде, однако в ответ на посланные в театры пьесы получала приблизительно такие отзывы: «Уважаемый автор, вашу пьесу, без сомнения, захочет поставить любой театр, в нашем же, к сожалению, репертуар утвержден на пять лет вперед». Или: «Уважаемый автор, мне понравились ваши пьесы, в них есть что-то живое, однако репертуарную политику театра делает режиссер, а отнюдь не завлит, я указал ему на ваши пьесы, но у него нет времени их прочитать. С уважением...» Или: «Уважаемый автор, если хотите, приходите, мы с вами пообщаемся. Ваши пьесы показались мне талантливыми. Но в театре сейчас возобладал “верняк”, и поставить что-нибудь неизвестного автора не представляется возможным. С уважением...» И я радовалась уже тому, что завлиты писали мне такие хорошие теплые письма.

Если чуть-чуть углубиться, то было еще кое-что.

Однажды, прочитав мою пьесу, позвонил знаменитый, любимый мною актер, очень ее хвалил, правда, о постановке речи не вел. На подходе была его собственная пьеса, подписанная псевдонимом, прозрачным для театральных кругов.

Известный московский режиссер, осваивавший современный репертуар, прочитал другую мою пьесу, вызвал меня к себе, обласкал, сказал, что ее будет ставить его молодой помощник. Ни имени, ни внешности помощника я не успела запомнить, очень быстро он исчез из театра и вообще с горизонта.

Было и такое: провинциальный уральский театр на родине Сережи заинтересовался третьей моей пьесой. Меня вызвали, я читала пьесу труппе; на вокзале,

прощаясь, перед самым третьим звонком, уральский режиссер проникновенно меня поцеловал и поздравил с хорошим началом. Конец, однако, был похуже. В театре поменялось начальство, новый директор мою пьесу из плана выбросил.

Так складывался мой «театральный роман».

Книжный магазин «Северная Пальмира» мы проводывали довольно часто. Кто-то сказал, что у ее владельца, Левы, есть в России издательство. Терять мне было нечего. Собрала книгу своих рассказов и пьес, сложила все тексты в папку и однажды подошла с ней к зевсоголовому Лева, он хмуро на меня взглянул, пробурчал, что отдаст мою папку на прочтение «экспертам», и отошел. Через какое-то время, увидев в магазине нас с Сережей, он зазвал нас к себе в подсобку и с непривычно светлым, даже радостным лицом сказал, что «эксперты» мои тексты одобрили и он возьмется их издавать. Помню его вопрос, меня почему-то окрыливший: «У вас есть что-нибудь еще, кроме этой книги»? Была зима, я сидела в душевной подсобке в теплой куртке и красной вязаной шапочке, лицо мое пылало от духоты и волнения, я только смогла кивнуть и выдохнуть:

— Конечно, это же путь.

Не знаю, понял ли он меня.

Работа закипела. Книжка была отдана редактору из издательства «Северная Пальмира». Через небольшое время с некоторой опаской я ей позвонила, но нашла такое понимание и сходночувствие, что наше общение стало походить на дружеское. Редактор оставила в текстах все на своих местах, внесла какие-то незначительные и необходимые поправки. Осмелев, я спросила, нравятся ли ей мои рассказы. Помню, она ответила, что нравятся, но что самое интересное в книжке — это пьесы. Мне тоже так казалось.

Следующим этапом было оформление, я сочинила художнице издательства большое письмо, описав свое видение обложки. Писала примерно следующее: «Не мое дело, милая художница, указывать художнику, как он должен выполнить свою работу. Он делает ее так, как считает нужным. Но если вы не против, я могу описать ассоциативный ряд, который связан у меня с этой книжкой: берег моря, дурная погода, прибрежные заросли, одинокая женщина на морском берегу.

В итоге родилась чудесная обложка, присланная в трех цветовых вариантах, где было именно это: морской берег в пасмурную погоду, заросли, женщина. Казалось бы, работа двигалась к концу. Но что-то в ней застопорилось. Я не понимала что. Зевсоголовый Лева сначала говорил, что какой-то важный в издательстве человек уехал в Грецию и почему-то не может оттуда вернуться. Потом перестал вообще на меня реагировать.

Каждый раз, приезжая в «Северную Пальмиру», я с замиранием сердца пыталась отгадать, на месте сегодня Лева или нет и в каком он настроении. Может, все же скажет мне что-то про мою книжку. Но Лева про книжку не говорил и смотрел куда-то мимо меня. Так прошло несколько лет. Книжка так и не появилась. Отчего — Бог весть. Может быть, тот важный для издательства человек так и не вернулся из Греции? Несколько лет я в «Пальмиру» не заходила, саднило сердце. Но потом, особенно с выходом «Итальянского карнавала», который Лева довольно успешно распродавал, возобновила посещения, правда уже нерегулярные.

А «Итальянский карнавал» был издан через шесть лет, в Америке, и способом, который, увы, стал общераспространенным в наши дни, — на деньги автора.

* * *

Сереза позвонил, когда я уже собиралась выходить из книжного. До его приезда успела забежать в русский магазин «Рынок», где схватила пачку гречки и пакет пельменей.

Когда-то в этом магазине работал немолодой мужчина, серьезного и слегка отрешенного вида, никак не подходящего к должности продавца. Он всегда замечал, когда мы с подростком-сыном входили в магазин, выражение его лица заметно менялось, веселело, он подзывал Даньку к себе и протягивал из-за прилавка вкусный пирожок с мясом. А мне при этом делал знак, что платить не надо, это подарок. Мы тогда только приехали с Западного берега, никого здесь не знали, денег было мало, так что пирожок был для Даниила самым настоящим лакомством, подарком, к тому же полученным просто так, «за красивые глаза».

Через какое-то время в местном рекламном бюллетене я увидела неброское объявление о смерти некоего Бориса Р., работавшего продавцом в магазине «Рынок». Дирекция магазина скорбела об утрате прекрасного человека и образцового работника. Я сразу подумала о серьезном продавце, он был единственным мужчиной среди простоватых юниц и светловолосых матрон, обслуживающих покупателей. Мне стало грустно, и вовсе не из-за пирожка, которого лишился Данька, подумалось: был человек, для которого мы с сыном представляли какой-то интерес, и интерес не шкурный, а чисто человеческий, он нам симпатизировал. Может быть, я напоминала ему кого-нибудь? Или Данька? Может быть, мы ему просто понравились? Бывает такая безотчетная симпатия, которую даже трудно объяснить. Когда-то давно, в Грузии, в древней ее столице, где сливаются «струи Арагвы и Куры», встретила нам с сестрой старушка еврейка, художница, ни за что не хотевшая взять деньги за вкусные сочные сливы из ее сада.

Сереза подъехал — я села со своими скромными покупками, и мы отправились в обратный путь. Всю дорогу мне дремалось, и сквозь дрему в сознании рисовались странные картины, все почему-то связанные с древним миром. То представлялась Клеопатра, она беззаботно спала в лодке, а сицилийский рыбак весело греб в направлении Сицилии, то царица Тамара, совсем не коварная и не злая, убегала из своей тесной башни с молодым пастухом, то Брут с криком «Папа!» бросался наперерез убийцам Цезаря, защищая того, кто, по слухам, мог быть его отцом.

Но дрема моя была прервана, Сереза неожиданно резко затормозил, я в испуге открыла глаза — и увидела в окно машины небольшого размера, но ладного индюка, гордо вышагивающего посередине проезжей части. Мы были уже возле дома. И индюк, возможно, приходил к нам в гости. Ужасно я ему обрадовалась. Дело в том, что прошлой зимой, прямо под Рождество, к нам наведальсь целое племя диких индеек, шесть особей. Утром мы увидели их из окна — они обошли кругом нашу голубую елочку, потом разбрелись по участку, но через короткое время снова выстроились в линию и друг за дружкой стали перебегать через дорогу, направляясь в лес. Сереза успел заснять волшебную картину на видео, и мы все Рождество рассылали знакомым кадры разгуливающих по участку вольных индеек, сопровождаемые бодрой ритмичной музыкой. Потом в холодном ветренном марте, в один из вечеров, я вдруг выглянула в окошко — и встрепенулась: возле нашей елочки прохаживались три крупные степенные индюшки. Было впечатление, что они «на сносях», так громоздко они выглядели в сравнении с теми изящными цыпочками, что приходили к нам зимой. Понимаю, что такое предположение дико: индюшки высиживают цыплят из яиц, но вес они явно нагуляли. Несмотря на свою массивность, они бойко двигались и даже летали. Я не верила глазам: из

другого окна, выходящего на лужайку, огражденную от соседского участка мощными столетними деревьями, можно было видеть, как они взлетают и садятся на толстые ветки, примерно посередине могучей кроны деревьев-исполинов. Огромные деревья шумели на ветру, их кроны качались.

С детства не понимала и не понимаю до сих пор, как эти тяжелые птицы преодолевают земное притяжение. Как они удерживаются среди качающихся веток? И неужели им не страшно при каждом новом порыве сурового борея?

Больше они не приходили. Мы ждали, что к лету «мамаша» пожалует к нам с приплодом, но не было ни мам, ни детей. Алевтина, поэтесса из Филадельфии, с которой почти каждый вечер мы разговариваем по телефону и которой я рассказала про индюшек, предположила, что их съели. Невдалеке от нашей горы расположился целый поселок вьетнамских беженцев. «Вот они их и съели, — услышав о поселке вьетнамцев, сказала Аля, — они едят все, что движется, даже жуков».

Алевтина хорошо понимает и про животных, и про людей. Она прожила долгую и красивую жизнь, где было все: скучное детство в провинциальном украинской городке, но среди книг и музыки, война и принудительная работа на немецких бюргеров в Германии, куда ее привезли подростком, послевоенные лагеря, брак от безнадёги, рождение дочки, ожидание, что выдадут Советам, но вместо этого пароходик «Генерал Балу», на котором «дипийцы» приплыли в Филадельфию, черная работа для куса хлеба и «счастливый билет», вытянутый благодаря полету советского спутника, когда знание русского помогло ей победить многочисленных конкурентов за место библиотекаря в филадельфийской библиотеке, затем бесконечная работа по самообразованию, чтение и писание собственных стихов, непохожих на все имеющиеся образцы. «Моя напасть, мое богатство, мое святое ремесло» — так сказала когда-то Каролина Павлова. Так могла бы сказать и Аля. Вот только пафоса она избегает.

Всю жизнь рядом с нею ее «звери». Собаки и кошки. Она их кормит, дает кров в ненастье, выхаживает тех, кого хозяева выбрасывают на улицу за ненадобность. Один из уличных котов до крови поцарапал ей руку. Теперь она с гордостью говорит, что «Себастьян (это тот самый кот) стал очень красивым и пушистым и занимает половину ее кресла, когда они вместе отдыхают по вечерам». И вот эта необыкновенная Алевтина была убеждена, что наши индюшки съедены вьетнамцами — и ничего тут не попишешь. Вышагивающий по дороге молодой индюшонок внушал надежду: может быть, где-то неподалеку притаились его родители, его соплеменники. Бедное, бедное индюшечье племя, ему, как и индейцам, желающим жить по своим законам, нет места в современном мире. Приходится уходить в леса, в чашу, скрываться в дебрях, но и там отыщутся те, кому хочется «взглянуть на диких индейцев» или «отведать мяса дикой индейки».

Оставалось три часа до вечернего урока. Полчаса занял звонок в Москву, сестре. В этот раз я звонила поздно, в одиннадцать часов вечера по-московскому времени, и разговор, при том, что всякое общение с сестрой — для меня радость, был горький: о несбывшихся планах, о болячках, об ушедших близких и о горстке оставшихся, о том, когда же наконец будем мы вместе...

Поднимаюсь к себе и сажусь за компьютер в тщетной попытке писать рецензию. Но нет, ничего не выходит, нет настроения, да и книга из разряда тягомотных. И вот я на улице — хожу вокруг дома по асфальтированной дорожке и размышляю на тему, близкую вечернему уроку, — о любви.

Пушкин «Египетские ночи» не закончил. Судя по отрывкам, он замыслил найти в современном ему Петербурге женщину, способную бросить мужчинам вызов Клеопатры. И судя по всему, такая женщина находилась. В отрывках ее зовут Воль-

ская. Наяву ей могла соответствовать Аграфена Закревская, жена финляндского генерал-губернатора, любовь поэта Баратынского, избравшая Пушкина своим наперсником. Об этом есть у него стихотворение: «Твоих признаний, жалоб нежных, / Ловлю я жадно каждый крик. / Страстей безумных и мятежных / Как упоителен язык! / Но прекрати свои рассказы, / Таи, таи свои мечты, / Боюсь их пламенной заразы, / Боюсь узнать, что знала ты!» Мужчина, опытный в любовных делах, боится узнать, что знала женщина в страсти... Что же это за страсть такая?! Далеко же современным кокеткам до восточных цариц и до «беззаконной петербургской кометы»!

«Египетские ночи» у Пушкина заканчиваются блистательным стихотворением, якобы сочиненным заезжим итальянцем-импровизатором; в нем описан пир Клеопатры, на котором она бросила всем присутствующим мужчинам свой вызов. Царица устанавливает «равенство» между собой и пирующими. Она — продавец, они — возможные покупатели. Только на кону не монеты, не золото — жизнь. Эту цену нужно заплатить за ночь любви. Ночь любви с Клеопатрой. Вот в чем ее вызов.

Ужасное условие.

Недаром Пушкин пишет: «Рекла — и ужас всех объемлет». Но одновременно «страстью дрогнули сердца». То есть ужас ужасом, но получается, что действительно в ее любви есть нечто бесконечно притягательное, за что можно отдать жизнь. Она называет это «блаженством» («В моей любви для вас блаженство»). Но только ли «блаженство» притягивает? Если говорить о тех трех, что приняли вызов, то их мотивы различны.

Первая ночь по жребию достается римлянину — Флавию. Он смелый и уже немолодой воин, «в дружинах римских поседелый». «Снести не мог он от жены высокомерного презренья». Вызов «наслажденья» он принимает как вызов на бой. Для него унизителен смертный страх, тем более перед лицом женщины, хоть и царственной.

Второй, купивший у Клеопатры ночь, — грек Критон. «Рожденный в рощах Эпикура», то есть поклонник греческого философа, провозглавившего наслаждение высшим благом, он еще и певец любви (певец «Харит, Киприды и Амура»), то есть поэт. Поэт-эпикурец, не раздумывая, покупает ночь наслаждения. И пусть цена запредельно высока, но и наслаждение обещает быть нетривиальным.

Третий — аноним, мы не знаем ни его имени, ни занятий. Это совсем еще юнец, чьи щеки «пух первый нежно отенял». Он неопытен в любви и рвется ее вкусить; скорее всего, Клеопатра — его первая (и последняя) женщина.

Теперь вопрос: для чего этот торг самой Клеопатре? Ей, царице, знавшей любовь римских военачальников: Цезаря, Антония? Зачем ей «неслыханное» — стать «наемницей» незнакомых ей мужчин, утолять их сладострастные желания?

Первая мысль — от скуки. Ей скучно на пиру, где все течет по обычному руслу. И вот она задумалась и «долу поникла дивною главой». И ей пришло в голову... Здесь не только то поражает, что решила стать «наемницей» — мало ли нимфоманок? — но назначила такую цену за свою любовь. Любовь — смерть. То есть эта ночь должна проходить под знаком смерти. Она знает, что он погибнет, и он знает, что утром погибнет. Это намного страшней, чем быть «у бездны мрачной на краю». Там есть у тебя хоть тень надежды на спасение, на выход из узкого прохода на простор, здесь же только эта ночь, а за ней — гибель, мрак, бездна. Без альтернатив. Ужасно. Понятно, что в этом случае Киприда — не легкая, веселая богиня любви и красоты, а «мощная» Киприда. К ней взывает Клеопатра, к мощной страшной Киприде, и к подземным царям — «богам грозного Аида». К тому свету она взывает, к подземному миру, ведающему мертвыми. Ибо за ее любовь следует смерть. И

здесь, похоже, ею движет не только скука, но и сладострастие самки богомола, откусывающей партнеру голову после совокупления.

Лермонтовская царица Тамара еще страшней Клеопатры. Она коварна и зла. Она заманивает всех подряд мужчин: воинов, купцов, пастухов. А затем, после ночи любви, предает ночного любовника смерти. Прямой договор Клеопатры подменен здесь коварной ловушкой, хотя схема остается той же самой — ночь любви, за которой следует смерть. Лермонтов предвосхищает последние строчки баллады о «безгласном теле», несомом волнами, поразительным сравнением. Ночь любви со сладострастной царицей сопровождается странными дикими звуками. «Как будто в ту башню пустую / Сто юношей пылких и жен / Сошлись на свадьбу ночную, / На тризну больших похорон». Сравнение амбивалентно: здесь одновременно и свадьба, и похороны. И в общем — то и другое верно, одно перетекает в другое. После убийства ночного гостя Тамара волей или неволей продолжает игру. Ее «прости», произнесенное из окна спальни и обращенное к «безгласному телу», сброшенному в Терек, звучит странно. В случае Клеопатры любовь завершается смертью. Лермонтов же свою балладу кончает словно бы новым любовным призывом. «И было так нежно прощанье, / Так сладко тот голос звучал, / Как будто восторги свиданья / И ласки любви обещал». Звучит как насмешка, но нет здесь насмешки. Это опять та же самая амбивалентность: смерть обещает любовь, хоть и иллюзорную.

Что это за любовь? И можно ли ей противопоставить что-то другое?

Все же в европейской традиции любовь — это чувство конкретное. Его объект имеет имя. Если тебе все равно, с кем ты имеешь дело, то это уже физиология, секс. И еще одно: от Библии идет: плодитесь и размножайтесь. Человеку заповедана любовь мужчины и женщины, приводящая к появлению потомства. Самый распространенный тип любви на протяжении веков — любовь супружеская, любовь в семье. Эта любовь, сакрализованная иудейской и христианской религиями, получила у них форму одного из священных «таинств» — «таинства брака». То, что изображено в «Египетских ночах», сильно отличается от европейского канона по всем пунктам. Любовь здесь направлена только на удовлетворение сладострастия, на получение удовольствия. Мужчина-властитель должен это удовольствие получить, а женщина должна его дать, вооружившись «всеми тайнами лобзанья и дивной негой».

Что могло привлечь в этой теме Пушкина? Почему он искал среди современниц ту, что могла бы бросить мужчине «вызов Клеопатры»? Я думаю, его влекла *грандиозность требования* женщины. И уже во вторую очередь *грандиозность жертвы* мужчины.

В XX веке в России я, пожалуй, знаю лишь одну женщину, способную поставить перед мужчинами «условие Клеопатры». Это подруга революционного поэта, его ускользающая любовь... А он сам, скорее всего, был бы способен принять ее условие. Да, эти двое точно могли бы. Оба как-то не помещались в своем времени, хотя их время было масштабным по катастрофичности происходящего.

А больше и не назову никого.

Противопоставить Клеопатриной любви можно разве что любовь платоническую, рыцарскую, детскую. Детскую, ибо ребенок видит — и влюбляется, и носит этот образ с собой, как «рыцарь бедный» носил с собой образ Пречистой Девы. Именно она, Дева Мария, противостоит языческой Клеопатре. А между этими двумя полюсами — пространство земной человеческой любви.

Останавливаюсь возле разрыхленной удобренной грядки. Вот-вот из-под земли проклюнутся нарциссы и тюльпаны. Что там происходит под землей? Какое колдовство? Какой процесс идет, чтобы свершился это рывок от небытия к бытию?

Начало темнеть, и я почувствовала, что замерзаю. Поднялась к себе и включила рефлектор, чтобы согреться. До занятий с Таней оставался час.

* * *

Таня попала ко мне случайно. Ее маме кто-то дал мой телефон, она позвонила, спросила, не откажусь ли я давать уроки «неординарной девочке» шестнадцати лет. Я поинтересовалась: в чем неординарность? О, она увлечена живописью и скульптурой, школу недолюбливает, хочет делать то, что ей нравится, очень немногие учителя ее устраивают. Не скажу, что такая характеристика мне понравилась, но заинтересовала, это правда.

Из машины вышли две девушки: одна — высокая блондинка, с длинными распущенными волосами, другая — помельче, тоже с распущенными волосами — синевато-фиолетового цвета. Та, что с цветными волосами, и была Таня. Про себя я сразу назвала ее Мальвиной, невестой Буратино. Мама Тани уехала, и мы начали урок.

Первым делом поговорили о жизни.

Оказалось, что в Москве Танина семья жила на Чистых прудах, Таня родилась в том самом роддоме, недалеко от Чистопрудного бульвара, где появился на свет наш Данька. В раннем детстве она гуляла по Чистикам, кормила уток, любовалась белым лебедем...

Поначалу мне не показалось, что Таня какая-то особенная, разве что взгляд у нее был непокорный, даже вызывающий, и со своими голубыми волосами выглядела она, прямо скажем, необычно. Мы начали с ней с Пушкина. Я взяла его неоконченную повесть «Арап Петра Великого», давнюю мою любовь, — и мы читали ее с Таней и после объяснения непонятных слов и темных мест пытались обсуждать. Первое мое «художественное» задание она провалила. Я знала, что Таня художница, посещает специальный кружок, слушает лекции в художественном музее. Вот и попросила ее сделать портрет Пушкина, а предварительно показала череду пушкинских автопортретов и гениальные зарисовки Нади Рушевой, идущей во след Пушкину-художнику в его автоизображениях. Таня принесла мне лицо без глаз. На белом смятом листе был небрежно нарисован контур головы анфас. Я взъерилась. И это Пушкин? Почему ты так лениво и нетворчески работаешь? На вопросы отвечаешь вяло, скучно тебя слушать, и вот у тебя Пушкин без глаз. Разве мог Пушкин быть безглазым? Что ты хотела этим сказать? В следующий раз ты просто обязана меня поразить, а то я подумаю, что ты самая обыкновенная.

Надо сказать, что следующего занятия я ждала с некоторым страхом. Вдруг у девочки ничего нет, кроме самомнения? И вот они с мамой приехали. Таня села напротив меня на свое обычное место. Было видно, что ее бьет дрожь. Мне стало ужасно ее жаль, просто сердце сжалось. Хотелось сказать: «Танечка, да Бог с тобой, что ты так волнуешься?» Но удержалась. Спросила:

— Итак, что ты, Татьяна, думаешь о повести?

И тут она начала. Сначала довольно робко и сипло, но по мере говорения обретая уверенность и звучность голоса. Я не ожидала, что есть у нее и свой взгляд, и нужные слова. Со словами, правда, было хуже, приходилось ей подсказывать, так как первыми ей на ум приходили слова английские. Таня прожила в России, в старинной квартире на Чистых прудах, только три года и потом была увезена в Америку. Закончив ответ, Таня полезла в портфель и вынула оттуда новый портрет Пушкина. Совсем другой. Этот Пушкин был уже далеко не безглазый, глаза у него горели зеленовато-желтым огоньком, как у кошки, и он чем-то напоминал дальне-

го кошачьего предка — рысь. Я таких пушкинских портретов еще не видела. А Таня уже не дрожала, в ее взгляде читалось торжество. Когда за ней приехала мама, я ей громко сказала, чтобы Таня тоже слышала: «Ваша девочка сегодня меня удивила и порадовала. Думаю, нам будет интересно друг с другом».

И вот мы занимаемся уже почти год, и я считаю Таню своей «заветной» ученицей. Сегодня я хочу ей сказать одну очень важную вещь, суть которой про себя обозначила словосочетанием «Афинская школа». Сегодня в шесть часов. Не знаю, почему я так волнуюсь.

* * *

Пятнадцать минут до урока, я уже протерла стол в гостиной, зажгла настольную лампу, положила несколько печений на блюдечко — угощаю ими Таню в конце каждого занятия.

Целый год мы с ней изучаем Пушкина. И целый год над этим столом витает тень моего Учителя, известного пушкиниста, профессора Московского университета, опального, несмотря на все свои заслуги... Мы с сестрой со школьных лет посещали его лекции, он любил читать студентам вслух пушкинские тексты, сопровождая свое негромкое глуховатое чтение коротким и точным комментарием. С тех пор и я полюбила читать вслух на занятиях. С Таней этот метод вполне органичен — ей нужно научиться хорошо читать по-русски. Для чего, с какой целью? Для себя. Это еще одна моя ученица, которая занимается «для души». Надеюсь, она не уйдет так же внезапно, как Джен, Грета Беккер и Бобби...

Сколько за этот год мы получили наслаждения! «Арап», кроме удивительных картин эпохи, кроме потрясающего рассказа о любви «негра» к титулованной француженке, дает читателю некоторые нити к внутреннему миру автора. Все же Ибрагим — предок Пушкина, и есть, есть в этой повести что-то очень личное. А какие благоуханные отточенные фразы: «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная». Сам Пушкин следовал за мыслями Петра, когда работал в архивах над его Историей. Или такое признание: «Сладостное внимание женщин — почти единственная цель наших усилий...» Как драгоценны эти слова Пушкина особенно для сегодняшних людей, живущих в эпоху, когда все перевернулось и мужчины ищут внимания мужчин, а женщины — женщин.

Вслед за «Арапом» мы с Таней обратились к «Повестям Белкина» — и снова наслаждение. Какой язык, какие замысловатые, немислимой крутизны сюжеты, а какие характеры! Герой «Выстрела» Сильвио Таню восхитил, ей понравилось, что, будучи в юности человеком тщеславным и завистливым, впоследствии он сумел морально превзойти «добродетельного» графа, заставив того дважды первым стрелять по себе и отказавшись от своего выстрела.

Следующим был «Дубровский», и здесь, как и в случае с «Арапом», было важно ответить на вопрос: почему Пушкин не закончил так счастливо начатую повесть. В «Арапе», положим, автора могла остановить не слишком красивая история, связанная с неверностью русской жены Ибрагима; автору, правнуку Ганнибала, не хотелось предавать огласке темные деяния предков. А в «Дубровском»? Странно, но выросшая в Америке Таня уловила политическую неблагонадежность пушкинского сюжета: крепостные крестьяне, взбунтовавшись, уходят в разбойники, и во главе их шайки — бывший помещик. Я еще больше заострила ситуацию: представь себе подобный сюжет в современной России — предположим, бунт в колонии, во главе которого ее бывший начальник, — можно ли быть уверенным, что книгу не запретят?

Две недели назад мы подошли к «Египетским ночам».

Они тоже не закончены. Почему? На этот вопрос довольно трудно ответить. Хотя... Судя по наброскам, Пушкин хотел перебросить «сюжет Клеопатры» в современность. Очень смелый ход, очень неосторожное поведение для того, кто, несмотря на то, что сам царь вызвался быть его цензором, все еще на подозрении как человек «неблагонадежный». Задуманный сюжет опасен, «аморален», предполагает картины, неприличные державной столице... И снова, как в «Арапе», но еще в большей мере, Пушкин здесь рисует себя, свой портрет — внешний и внутренний. Он — это Чарский. «Какое слово слышится тебе внутри этой фамилии?» — спросила я Таню. И она не очень уверенно, так как слово было полузнакомое, ответила: «Чара... чары». Значит, услышала и, возможно, даже поняла, что Чарский — немножечко чародей, как все настоящие поэты.

Сегодня нам предстоит прочитать последнюю написанную Пушкиным главу — выступление импровизатора, его стихотворную импровизацию на тему Клеопатры.

И сегодня же я хотела... впрочем, я не уверена, что мне хватит времени и что переход получится мотивированный... но если все совпадет, то я хотела сказать Тане нечто очень важное о наших с ней уроках... Именно Тане, ее я выбрала как свою «заветную» ученицу. Я долго несла это в себе, и, кажется, пришло время для объяснения некоего сакрального смысла того, чем мы с нею занимаемся.

* * *

На часах, висящих на стене слева от меня, ровно шесть. Пока Тани нет, я просматриваю «Египетские ночи». Какое счастье, что когда-то я увезла Пушкина с собой. Маленькие, в ладонь, серые томики уместились на дне чемодана, рядом я положила Библию, а уже сверху накидала белье и одежду. С одним чемоданом я перемещалась из Москвы в Италию, из Италии в Америку — и всякий раз соблюдалась эта диспозиция: снизу Пушкин и Библия, сверху все остальное. Странно, вот уже четверть седьмого, а их нет. Обычно Танина мама звонит мне с дороги, если опаздывает. Половина седьмого. Куда они запропастились? Почему не звонят?

Не хочется думать, что это не случайно. А вдруг? Р-раз — и решили, что хватит, что довольно, что сколько можно тратить деньги на «мертвый» для Таниного окружения язык? Признайся, ты ожидала чего-то подобного, хотя гнала эту мысль, все обдумывала, что сегодня скажешь Тане. Неужели наши занятия оборвались и все, что я хотела высказать, так и останется со мной, так и не достигнет Таниного слуха? И я не покажу ей репродукцию той ватиканской фрески Рафаэля, где на самом верху у колонн стоят два божественно красивых и могучих человека, учитель и ученик, седовласый старец Платон и черноголовый мужественный Аристотель? И не укажу ей, моей художнице, на знаменитых мудрецов древности, разбросанных по пространству фрески: греческих, египетских и персидских. Все они, где бы и когда бы они ни жили, были выучениками тех двух, великих, у всех за спиной стояла афинская школа. И пришел Рим, и все покорило Риму, его мечу и его законам, но подспудно в огромной империи осуществлялась незримая работа, покоренные греки несли в мир свое знание, свое искусство, свой взгляд. И чудо — на фреске Рафаэля, созданной века спустя в Вечном городе, городе победителей, городе Цезаря и Октавиана Августа, в перл создания возведены два мудреца из покоренной Римом провинции — Платон и Аристотель, и прославлена их афинская школа.

Когда-то в детстве я прочитала в исторической книжке, как один греческий актер, мим, убедившись, что греческой цивилизации больше не существует, страна завоевана, храмы разрушены, книги сгорели в пожарах войны, решил, что пока

жив, будет нести в мир сохраненные им священные осколки. Может быть, и нам, живущим в чужой стране, среди тех, кто говорит, думает, шутит на другом языке и все это делает иначе, чем мы, может быть, и нам предстоит этот путь? Путь, начертанный Рафаэлем в его «Афинской школе»?

Неужели я никогда не смогу этого сказать своей «заветной», понимающей меня с полуслова ученице?

Громкий звонок в дверь. Кто это? Я уже словно забыла, что сегодня наш с Таней урок.

Но это они, Таня и ее мама. Танина мама бросается ко мне, скороговоркой начинает объяснять, что на дороге столпотворение, строительство, авария, что на том участке пути, где они стояли, отсутствовала мобильная связь. Таня уже сидит на обычном месте. Яркий свет люстры падает на ее фиолетово-синие волосы, делает их зелеными, под цвет русалочьим глазам.

Танина мама уходит, и, когда я подхожу к столу, Таня вдруг говорит:

— А знаете, кого мы чуть не сбили по дороге? Целое семейство индеек, их было штук шесть; кажется, они шли в вашем направлении.

Мне становится как-то очень легко, я глубоко вбираю в себя воздух и сажусь на свое место у стола. Урок начинается.